



ПО СЛЕДАМ СЛОВ



скифия

Андрей Устинов
Хосейн Табатабаи
Снежана Мальшева
Дмитрий Ванин
Ольга Авербах
Ирина Фещенко-Скворцова
Бранислав Янкович
Светлана Беляева
Ребекка Лильеберг
Марина Соболева
Галина Го (Сагалович)
Федор Шилев

Андрей Мисюк
Олег Захаров
Сергей Грызлов
Татьяна Кулага
Игорь Чернавин
Иосиф Гальперин
Рэй Фейра
Андрей Родионов
Мадина Магамедова
Шри Махадэва Ади Нидана
Даниил Баснер

Антология Живой Литературы (АЖЛ)

АНТОЛОГИЯ
По следам слов

Издательско-Торговый Дом "СКИФИЯ"

2018

УДК 84 (2Рос=Рус) 6
ББК 82.32

Антология

По следам слов / Антология — Издательско-Торговый Дом
"СКИФИЯ", 2018 — (Антология Живой Литературы (АЖЛ))

ISBN 978-5-00025-124-9

По земле, по воде и по воздуху ходят слова. Они недоверчивы и ходят осторожно. Мы подкрадываемся, выжидаем... И идем по следам слов. «Антология Живой Литературы» (АЖЛ) – книжная серия издательства «Скифия», призванная популяризировать современную поэзию и прозу. В серии публикуются как известные, так и начинающие русскоязычные авторы со всего мира. Публикация происходит на конкурсной основе.

УДК 84 (2Рос=Рус) 6

ББК 82.32

ISBN 978-5-00025-124-9

© Антология, 2018
© Издательско-Торговый Дом
"СКИФИЯ", 2018

Содержание

| | |
|--|----|
| Круги, ими образуемые | 7 |
| Андрей Устинов | 7 |
| Сиделка Ночь | 8 |
| Сон Адама | 10 |
| Никейская тайна | 11 |
| Обичь и невесть | 15 |
| Целительница ночь | 17 |
| Слово | 20 |
| Хосейн Табатабаи | 23 |
| Нима Юшидж | 23 |
| Форуг Фаррохзад | 24 |
| Сохраб Сепехри | 25 |
| Ахмад Шамлу | 28 |
| Ахмадреа Ахмади | 32 |
| Гярус Абдолмалекиан | 32 |
| Хамид Мосаддек | 37 |
| Настаран Восуки | 38 |
| Аббас Киаростами | 40 |
| Фазел Назари | 41 |
| Реза Каземи | 42 |
| Эхсан Парса | 47 |
| Алиреза Рошан | 50 |
| Снежана Мальшева | 51 |
| Туманные вариации | 51 |
| Мы | 52 |
| Киевская ночь | 53 |
| Образ жизни... | 53 |
| Пять пятистрочий для уходящего лета | 53 |
| Холодный июнь в Коктебеле | 55 |
| Постпетербургское | 55 |
| «Замкнут в утробе, в робе...» | 56 |
| Чаянья меньше чаинок | 57 |
| По мотивам картин Сергея Сергеевича Пономарева | 57 |
| «Нора», «Гнездо», «Вечная любовь» | |
| «Скользит рука по ветхим переплетам...» | 58 |
| «Потоки слов неуловимой ртутью...» | 58 |
| «Дождь, Толстой и Бородино...» | 59 |
| Причитания | 60 |
| Начало века | 60 |
| «Рыжие бабы на змее распутства и крови...» | 60 |
| Гимн тыкве | 61 |
| Белле Ахмадулиной | 61 |
| Я была | 62 |
| Разговор | 62 |
| Дмитрии Ванин | 63 |
| Страница | 63 |

| | |
|--|-----|
| Утро | 64 |
| Тоска по творчеству | 64 |
| Ночь в поезде | 65 |
| Маленькое письмо другу | 65 |
| «Дом твой пропах вагоном...» | 67 |
| Маленький город N | 67 |
| «С дождя, простуженный и мокрый...» | 68 |
| Написано в поезде | 68 |
| Мы... | 69 |
| Сдохнуть от любви | 71 |
| Берег | 71 |
| «В треугольнике света солнце всегда в углу...» | 72 |
| «Похожий на дождик в мае...» | 72 |
| «В неприглядное время в стране голубых фонарей...» | 73 |
| «Сегодня я пишу тебе опять...» | 73 |
| Февраль | 74 |
| «Я боюсь одиночества. Юность уходит...» | 74 |
| 17 | 74 |
| Стихи о море | 75 |
| Ольга Авербах | 76 |
| АСП | 76 |
| Рыба | 77 |
| Ожидание | 77 |
| Марине | 78 |
| О вшах и Эльфийской трилогии | 78 |
| От тоски | 79 |
| У тебя во сне | 79 |
| Из пушек по облакам | 80 |
| Французская баллада | 80 |
| Гамельн | 82 |
| Не дает Еве сна весна | 82 |
| Белоснежка | 83 |
| Ирина Фещенко-Скворцова | 84 |
| Я живу на пределе | 84 |
| Звезды ткали покрывало | 85 |
| На белом камне белая черта | 85 |
| Я отпускаю... | 86 |
| Невоплощенный образ | 86 |
| Остановленное мгновение | 86 |
| Сам себя – на безлюдный остров | 87 |
| Не хрупкая слюда... | 87 |
| Белая тропа | 89 |
| Бранислав Янкович | 89 |
| Соловей-пташка | 90 |
| Словно куклы для бедных детей | 96 |
| Духи и матери | 100 |
| Конец ознакомительного фрагмента. | 102 |

По следам слов

Антология Живой Литературы № 11

Серия: Антология Живой Литературы (АЖЛ)

Серия основана в 2013 году

Том 11

Редактор-составитель Нари Ади-Карана



Издательство приглашает авторов к участию в конкурсе на публикацию в серии АЖЛ. Заявки на конкурс принимаются по адресу электронной почты: skifiabook@mail.ru.

Подробности условий конкурса можно прочитать на издательском сайте: www.skifiabook.ru.

Круги, ими образуемые



Андрей Устинов
г. Санкт-Петербург



Окончил Ленинградский государственный университет (факультет прикладной математики). Работал в школе преподавателем математики и информатики, затем программистом в частных компаниях – менеджер проектов, системный архитектор, системный интегратор.

Из интервью с автором:

Два года посещал ЛИТО под руководством поэта Александра Шевелёва. В эти годы был написан роман «Перечитывая Джона Китса». Дальнейшая литературная судьба – роман «Аттракцион Любовь», захвативший три с лишним года жизни.

© Устинов А., 2017

Сиделка Ночь

С первой строчки этого эссе хотелось бы мне подчеркнуть – его героями являются исключительно стихи. Все вынужденные прозаические отступления – не более чем разбежавшиеся круги, центр которых есть поэзия.

Распорядок действий

В юношестве, на заре перестройки, я ходил в ДК Горького – на занятия ЛИТО. Публика была самая разночинная, от старушки – потомственной петербурженки, до тихого графомана-алкоголика, числившегося кладовщиком где-то на Мельничной. Старушка наша разъяснила раз, что весь тот район «Ленфильма» и бесконечных складов звался раньше Глухое Озеро, по имени озерца, относившегося к загородной усадьбе Потёмкина. В начале трагиче-

ского XX века Городская Дума отвела участок за Невской заставой под свалку – на этом озерце и закончилось.

В тех рассказах о былом ощущался мрачный символизм. Занятия вел поэт Александр Шевелёв – сам из крестьян, он учился в ЛИТМО (механика, оптика, кой черт... – все дороги ведут в Рим!), добился в советское время некоторой известности, но начавшаяся разруха незыблемых печатных институтов, коммерциализация Слова... – художник Средневековья легко нашел бы в нем модель стареющего Горацио.

Однажды, говоря о применении пословиц в стихах, он цитировал нам Пастернака:

Гул затих. Я вышел на подмости.
Прислонясь к дверному косяку,
Я ловлю в далеком отголоске,
Что случится на моем веку.
На меня наставлен сумрак ночи
Тысячью биноклей на оси.
Если только можно, Авва Отче,
Чашу эту мимо пронеси.
Но продуман распорядок действий,
И неотвратим конец пути.
Я один, все тонет в фарисействе.
Жизнь прожить – не сцену перейти.

Старушка наша поправила машинально: «не поле перейти». Но Александр Александрович (светлая память!) повторил тихо: «Жизнь прожить – не сцену перейти». Был ли он знаком с Борисом Пастернаком лично, не знаю, но именно с ним он и разговаривал тогда...

Только этот урок поистине пушкинского свободомыслия я и вынес из тех занятий. Стихи поэтов не надо зубрить. С поэтами – надо разговаривать.

Я вспомнил о том уроке много позже, когда работал над романом «Аттракцион Любовь». Героем моим был англичанин, колледжский профессор, специалист по русской литературе. Как мог бы доказать я читателю настоящность моего профессора? Подумалось – почему нет? Именно иностранец, хотя читающий бегло и без словаря, но избежавший очеканки наших школ, мог бы отнестись к русским стихам с искренним вольнолюбием, с детским восторгом настоящего почемушки.

Взять ли стихи Георгия Иванова – моего, без преувеличения, кумира. Других я читал с детства, а его зрелые стихи прочел, как и многие, только зрелым человеком, тем ошеломительнее был эффект. Но другое дело – его вирши юношеские. И Мэтт (мой профессор), чуткий к малейшим нюансам языка, вечно настороженно проясняющий для себя разницу в суффиксах и пр., удивленно замер над:

Прекрасная охотница Диана
Опять вступает на осенний путь,
И тускло светятся края колчана,
Рука и алебастровая грудь.
А воды бездыханны, как пустыня...
Я сяду на скамейку близ Невы,
И в сердце мне печальная богиня
Пошлет стрелу с блестящей тетивы.

– Почему «блестящей»? Почему? – вопрошал он. – Иванов использовал present continuous (настоящее продолженное), а не present perfect continuous (настоящее совершенное продолженное)?

Перевожу на русский: Алебастровая грудь – символ мертвой статуи. Разве у алебастрового лука была тетива? Разве не более по-ивановски было бы, чтобы та тяжеловатая статуя в Летнем саду лишь на один восхитительный миг («мне однажды почудилось это») одухотворилась, перемнулась с ноги на ногу... И как не вспомнить современные теории Пьера Клоссовски («Купание Дианы»), по которым Актеон был наказан на самом деле за свое живейшее воображение? Должно было произойти так:

Я сяду на скамейку близ Невы,
И в сердце мне вздохнувшая богиня
Пошлет стрелу с блеснувшей тетивы.

К несчастью или нет, таков именно поэтический распорядок действий. И никогда он не был другим.

Сон Адама

В Начале – было Слово.

В 1912 году (в 21 год) Осип Мандельштам написал:

Образ твой, мучительный и зыбкий,
Я не мог в тумане осязать.
«Господи!» – сказал я по ошибке,
Сам того не думая сказать.
Божье имя, как большая птица,
Вылетело из моей груди.
Впереди густой туман клубится,
И пустая клетка позади.

Толкования продолжают по сию пору. Сергей Аверинцев («Судьба и весть Осипа Мандельштама») полагает, что изначально речь не о Боге, т. к. слово «твой» дано со строчной буквы. «Вполне возможно, хотя совершенно не важно, что образ – женский». Далее, по Аверинцеву, неверующий (или слабоверующий) герой произносит имя Господа всуе, но Божье имя неожиданно оживает и... покидает несчастного. Конец сюжета.

У меня нет цели разрушить это толкование. Быть может – так. Но никогда мне не любилось (простите за высокий слог) сие божественное забытие – не со стороны Бога, а со стороны Мандельштама. Таинственный «быть может» женский образ не мог быть так совершенно не рыцарски заброшен поэтом! Мандельштам был молод и влюбчив, очень. Мог ли он, к концу двух строф, позабыть о женском начале стиха? Мог ли он вообще начертать такое «нескладное» стихотворение?

И не то что мучился сей тайной, что до полубезумия спорил в душе с мандельштамовскими строчками – нет. А все же как-то глубокой ночью (был влюблен – нет, ошпарен любовью!) стал нервозно припоминать Мандельштама и... Так и мой Мэтт, почитатель хрестоматий, начал вдруг во сне декламации на русском и тоже «неведомо» ошибся:

Образ твой, мучительный и зыбкий,
Я не мог в тумане осязать.

«Женщина...» – сказал я по ошибке,
Сам того не ведая сказать.
Имя Евы, аки Сириин-птица,
Из разверстой вырвалось груди.
Впереди туман плотней клубится,
И пустая клетка позади.

Вот так – в ответ на тоску Адама – Господь создал Женщину.
Или, возвращаясь к оригиналу, Еву создал сам Адам – силою Господнего имени, сокрытой в каждом из нас. И отозвавшейся на его порыв.
Акт творения – вот что описал Мандельштам.

Никейская тайна

Итак, пора любви...

В 1831 году еще неизвестный Эдгар Аллан По опубликовал наконец (в книжке на средства друзей) стихотворение «To Helen». Оно прекрасно подтверждает мой посыл – настоящие стихи нельзя считать мертвыми. В 1845 году – прошло 14 лет! – По сам подправил пару строчек, и немаловажных (об этом ниже). Вот его последняя версия:

Helen, thy beauty is to me
Like those Nicean barks of yore,
That gently, o'er a perfumed sea,
The weaiy, way-worn wanderer bore
To his own native shore.
On desperate seas long wont to roam,
Thy hyacinth hair; thy classic face,
Thy Naiad airs have brought me home
To the gloiy that was Greece
And the grandeur that was Rome.
Lo! in yon brilliant window-niche
How statue-like I see thee stand,
The agate lamp within thy hand!
Ah, Psyche, from the regions which
Are Holy Land!

В комментариях часто встречаются фразы «самое гармоничное из стихотворений По» и т. д. Более емко, ярко, доходчиво и т. д. было бы пояснить, что для американца эти стихи – почти то «чудное мгновенье». Конечно, Мэтт и я не могли не заинтересоваться русскими переводами. Всерьез (не поминая Бальмонта) можно говорить только о работе Брюсова:

Елена! Красота твоя —
Никейский челн дней отдаленных,
Что мчал меж зыбей благовонных
Бродяг, блужданьем утомленных,
В родимые края!
В морях Скорбей я был томим,
Но гиацинтовые пряди
Над бледным обликом твоим,

Твой голос, свойственный Няяде,
Меня вернули к снам родным:
К прекрасной навсегда Элладе
И к твоему величью, Рим!
В окне, что светит в мрак ночной,
Как статуя, ты предо мной
Вздымаешь лампу из агата.
Психея! край твой был когда-то
Обетованною страной!

Оставим в стороне две лишние строки и три подряд рифмы на «ых» в самом начале столь воздушного стихотворения (или так передана морская качка?) – перевод, в целом, профессионален. Под профессиональностью я понимаю то, что он достаточно-таки сложен поэтически и довольно точен буквально. Он дает представление... но о чем?

Если бы мой Мэтт чуть меньше ценил оригинал, чуть меньше копался в англоязычных комментариях и толкованиях, – я, возможно, никогда бы не сдвинулся дальше предыдущего абзаца.

Началось все с претензий довольно банальных:

Куда пропало изумленное *Lo*, куда пропало *brilliant*? Почему в переводе так просто (почти пошло) «окно светит». Да еще и светит «в ночь» – что за бледная тавтология?

Почему у По *Holy Land* существует в настоящем, а у Брюсова лишь была «когда-то»? Не потому ли лишь, что «когда-то» – подходящая рифма для «агата»? И только из-за этого – затереть весь смысл стихотворения?

И важно, что это именно две строки (из четырех), которые По изменил в 1845 году. Если в первой версии было «*Lo! in that little window-niche*» и «*The folded scroll within thy hand*», то в 1845 году статуя несколько переменяла позу – отложила свернутый свиток и подняла лампу, освещая себе проход, и тут-то к изумленному «*Lo*» добавилось превосходное народное «уоп», и окно буквально вспыхнуло («*brilliant*»).

Поэтому, настаивал Мэтт, невозможно так напрочь привязываться к текущей позе статуи – ибо она движется! – но важно отметить только усиливающуюся с годами ноту изумления, восхищения, священного трепета.

Потом, конечно, встал вопрос о «Никейских челнах». На англоязычных форумах поклонников По эта тема, подобно Фениксу, возрождается вновь и вновь. Дилетанты спорят, солидные ученые уважительно выдвигают (выдвигивают, хочется сказать) новые версии. Мэтт упомянул мне эссе «*Roe's Nicean Barks*» Эдварда Снайдера (*Edward D. Snyder*), где со вкусом продегустированы, иначе не сказать, целых девять вариантов – понумерованных, как принято у больших ученых, римскими цифрами. То ли это навеяно Катуллом (которого По как раз изучал), то ли это про Одиссея, наконец возвращающегося на Итаку, то ли... Есть еще десятое мнение, появившееся позже (*Marío L. D'Avanzo*), по которому красота Елены приравнивается к красоте... роостр. Но роостр не любых, а изображающих Нику – богиню победы. И главное наблюдение, придающее этой идее действительную достоверность: именно носовые фигуры богинь окрашивались ярко и необычно, многие действительно имели те самые гиацинтовые волосы («*hyacinth hair*»).

А в конце концов, большинство – тот же профессор *Arthur H. Weston*, голосовавший поначалу за Катулла, – приходят к выводу, что лучше даже ничего не объяснять... *Arthur Clutton-Brock* так выразил это чувство невыразимости в своем эссе («*Essays on Literature and Life*»):

«Эти стихи подобны музыке, возникающей по взмаху палочки великого дирижера; вы не можете не вслушиваться; и хотя поэма не говорит о чем-то конкретном, что было вам интересно, хотя вы не представляете, что за чудо такое эти Никейские челны и кто та Елена – Елена Троянская или просто знакомая По, хотя вы так и не можете ответить в конце на эти вопросы, вы даже не хотите знать ответов, они не имеют значения».

Но все же... именно в музыке есть эмоциональные сюжеты. Именно в музыке вы отрываетесь от буквы и имеете дело с сутью эмоций. Поэтому, если Никейские челны вызывали в душе молодого По некие ассоциации, важно, чтобы эти ассоциации возникали и у читателя перевода. Какие же это были эмоции?

Попробуем пересказать стихотворение.

1-я строфа:

Красота Елены напоминает поэту красоту кораблей древности, переносивших усталых путников к их желанной цели. Кораблей, умевших укротить, умиротворить море самим своим существом (здесь нелишне вспомнить, что в английском языке корабль – существо женского рода).

2-я строфа:

Поэт устал скитаться по бесконечным морям, но это божественное существо, принявшее облик Наяды, увлекло поэта к его желанной обители – Древним Греции и Риму.

3-я строфа:

Женщина появляется в оконной нише, освещая себе путь факелом, замирает (попутно: как раз тут, в свете ночника, и могли ее волосы приобрести тот загадочный оттенок!). Да – она действительно подобна тем богиням древности, о которых он мечтал. Значит – эта Святая Земля существует.

Особенно, если бы и правда, переложить стихотворение на музыку, стало бы осязаемее, что 2-я строфа – это парафраза 1-й. И невольно возникает чувство, что в этой поэме что-то пропущено. А как же – как поэт попал в эти бесконечные моря скитаний? Ведь этот скиталец, если вдуматься, еще до спасения его современной Еленой уже как-то знал о кораблях древности, о Греции и Риме... И, конечно, о гибели Трои?

Итак, Мэтт определил две проблемы русского перевода:

1) «Никейских челны» (хотя их суть и можно долго объяснять в примечаниях) мало что говорят сердцу русского человека. По замыслу стихотворения переводчику следовало бы апеллировать к чему-то родному для читателя. Например, славянскому эпосу?

2) Конечно, называя стихотворение «К Елене» и помянув Грецию, невозможно убежать от подтекста. Хотя именно у По никакого «илиадного» подтекста не предполагалось: все стихотворение – это восхищение спокойной и цельной красотой женщины, именно знакомой По (матери его школьного товарища, в которую он был «идеально» влюблен). И настоящие моря скорбей были у По еще впереди.

Но читатель непредвзятый, не знакомый с жизнью поэта такой подтекст ожидает. А подтекст-то достаточно сложен для идеала – слишком много героев полегло под Троей, слишком много было предательств. Как же оправдать Елену? Надо ли ее оправдывать? Ведь и у самого Гомера, когда в «Одиссее» Телемах навещает Менелая, Елена не только прежде-прекрасна, но даже... благородна («умная мысль пробудилась тогда в благородной Елене»). Возможно, не стоит судить полубожественную красавицу по обычным меркам. В конце концов, там, в Трое, она же не выдала Одиссея! Возможно, напротив, это было ее право – судить мужчин по собственной прихотливой шкале. Каков-то был бы ее приговор поэту?

Удивительно, но в славянском эпосе есть ответы на все запросы Мэтта. Во-первых, до сих пор традиционная русская вышивка знает образ Солнечной Девы, плывущей на прекрасной ладье, влекомой парой лебедей. Во-вторых – славяне были под Троей! Достаточно сослаться на М. В. Ломоносова и его «Краткой Россійской льтописецъ съ родословіемъ»: «Енеты, венеты или венды, народ славенского покорения, с королем своим Пилименом бывши в Трое для ее от греков защищения...». Да разве не является нам порой и сама Елена Прекрасная в сказках об Иване-царевиче? Может, это и миф, но для стихов – вполне надежная опора!

Итак, ладья-лебедь с условными варягами плывет под Тройю (кто бы ни были варяги на деле, в пору Троянскую их еще так не называли). Но, конечно, отказавшись от «ростр», уже нельзя было говорить о гиацинтовой волсе. Пришлось искать замену – причем замену Мэтт потребовал не менее таинственную! Так и родилась Эридия – нимфа Эридана. Нагая златокожественная наяда оживает на «Звездной карте» Петера Апиана, прославленного средневекового космографа. Разве не могла бы подобная литография привлечь воображение юного По?

И вот первый результат научных спекуляций Мэтта:

Елена! Благости сестра!
Ты ль, обратясь ладьей певучей,
Вояк-варягов за моря
Влекла, паря над зыбью жгучей,
Услышать Леты зов текучий?
Душой немотной стражду днесь:
Твои ль, Эридия, рулады
Богам мифической Эллады
Взманят в луга Элизиады,
Где гиацинтам час восцвествь?
Чу! В ночь отверста дверь алькова,
И та, кого ваял Канова,
Поденкам внемлет, замерши...
Психея! Ах! Ми беше Слово —
Ты будеши!

Вот так: Елена Прекрасная – повелительница мужчин. И спасительница поэтов.

Однако мы же обещали не останавливать диалог?

Следующее, что звонко зацепило слух – ой-ой! Но почему в строке «To the glory that was Greece» у По пропущен первый слог? Сравните с предыдущей рифмующейся строчкой «Thy hyacinth hair; thy classic face». Произнесите их рядом!

Теперь, чтобы стихотворение звучало гладко, дифтонг в слове «home», предшествующем проблемной строке, придется потянуть, тогда все сойдется (а в «toam», где дифтонг точно такой же, тянуть не надо!). Но что это – школярская ошибка или сознательное ударение, и что с этим делать в русском переводе?

Ошибка или нет – кто ж теперь скажет? Но уж больно подходящее место – раскрывается понятие «дом», и сделать туг ударение очень кстати. Вот что мы придумали: слово «изместья» – слово-то очень органичное, означающее «корни происхождения». А так как речь о душе – духовную пуповину, занывшие духовные шрамы...

Тогда, при чтении, дифтонг в конце нужно, как и у По, сознательно потянуть: изместия. Вот так:

Твои ль, Эридия, рулады

Богам мифической Эллады
Восполонят души измесья —
Пажити Элизиады,
Где гиацинтам час восцвествь?!

И «пажити» – гораздо лучше соответствуют «the beauty of fair Greece» из первого варианта По, правда?

Ах... Все бы хорошо, но в этот момент неугомонный Мэтт вернулся к вопросу о «Никейских челнах» и о том, кто же был тот утомленный блужданьем странник – «the weary, way-worn wanderer»? Не хочется повторять ошибки Брюсова! «Бродяга, утомленный блужданьем» – хорошее масло размазанное! И казалось бы, идет оно именно от По, ведь worn – это Past Participle от wear. Weary... wear... вот и получается забродившийся бродяга. Но – (тут Мэтт, совершенно в американской манере воскликнул: oh, my gosh!) – подождите! Wear, кроме широкоизвестного значения (носить, изнашиваться), еще имеет точное морское значение: держать корабль по ветру. Тогда weary way-worn, не зря же у По дефис, будет означать бродягу, носимого по ветру. Конечно, это Одиссей. Наконец вынесенный, сонным, добрыми феаками на песчаный пляж, недалеко от грота наяд.

Не может быть никаких множественных бродяг или вояк, Одиссей – один.

Это заставляет пересмотреть все стихотворение. Оно кажется теперь совершенно понятным, более естественным для подростка, восхищенного матерью школьного товарища:

Елена! Благости сестра!
Никейской девою летучей
Преобразись, под песнь уключин,
Царя, прозлившего ветра,
Не ты ль влекла над зыбью жгучею?..
Твои ль Наядовы рулады
И кос фиалковые склады
Вернули мне души измесья —
Пажити благой Эллады
И Рима праздничный расцвет?!
Чу! В ночь отверста дверь алькова,
И та, кого ваял Канова,
Вздохнет, агатов факел вздев...
Психея! Ах! Из края Оного —
Суть твой напев!

И это не мучительный любовный процесс, а краткий миг, остановившееся прекрасное мгновение. Ведь совершенно ясно, что юный поэт случайно подглядел что-то. Подглядел Красоту.

Обичь и невесть

За влюбленностью часто следуют сомнения. Эпоха сомнений. Вспомним знаменитое двустишие Катюлла:

Odi et amo. Quare id faciam, fortasse requiris.
Ncscio, sed fieri sentio et excrucior.

Не правда ли, высказывание более философическое, чем лирическое? Лучше всего суть его передается чистым подстрочником:

Я ненавижу – и я люблю.
И зачем ты мучаешь себя?
(Ты можешь спросить.)
НЕ ЗНАЮ.
Но чувствую так
И я распят.

Конечно, в наше удивительное время «кратких» изданий классиков и т. п. античное слово отзывается порой самым неожиданным образом. Достаточно помянуть незамысловатый шлягер «I love to hate you» – публика довольна! Но литературная традиция все же требует классической формы. И здесь старание переводчика сосредоточено обычно на двух моментах (по крайней мере, так гласит Интернет):

1) Как «емко» перевести «odi et amo»? Предполагается, что для римлян это были глаголы сильного, длительного действия. А наши «люблю» и «ненавижу» – глаголы, во времени неопределенные (present indefinite).

2) Как обыграть игру слов оригинала: зачем ты это делаешь? – не знаю, это делается само.

По первому вопросу – Мэтт предложил не использовать глаголы вовсе. Зато (все же не современника переводим) опереться на богатые возможности старославянского или церковнославянского хоть на слово. Использовать существительные! Существительные, передающие долговременные состояния души – суть людских поступков! К примеру, «любовь и невесть»...

Мэтт, для которого грани между славянскими языками не столь существенны, предлагал еще варианты: «Обичь и невесть моя» (обич – болгарское слово, означающее земную любовь), «Муци любовны» (муци – слово сербское, означает страдания)...

По второму вопросу... Но все же пора решать. Хотим ли мы оставить двустигшие Катулла именно философическим высказыванием по сути? Если да – то перевода выше, либо подобного, вполне хватает. Или – востщимся услаждать слух именно лирикой? Которая будет каждым словом захватывать не ум только, но и чувства?

Мэтт (тоже мучаясь любовью) проголосовал в пользу чувств.

Какие тут возникают задачи перед переводчиком?

Кроме очевидного пожелания не быть столь буквальным (подтекст! подтекст!), есть еще два момента:

1) А кто же является тем собеседником поэта? Это может быть либо друг, либо... сама его возлюбленная. И то, что совершенно неважно для философского вопроса, для лирического перевода становится живым чувственным моментом.

2) Мэтт раскопал интересный комментарий профессора Уильяма Харриса из Миддл-берри. Вот эта цитата: «Я обнаружил, представляя сию поэму классу, что могу достичь нужного эффекта, читая ровно и медленно и затем буквально вскрикивая на слове *exstisior*».

Не удивлюсь, если профессор Харрис, подобно моему Мэпу, также не чужд стихотворству. Только поэт мог дать такой верный чувственный комментарий. Представьте: поэт и его друг (или подруга) философически обсуждают вопрос любви и ненависти, и вдруг голос Катулла хрипнет, и оба (оба! плюс читатель!) обнаруживают, что поэт – физически распят на кресте.

Итак, из одного абстрактно-философического тезиса у Мэтта перевелись (можно ли так сказать?) два конкретно-лирических выкрика души – зависимо от личности собеседника.

Вот разговор с другом, неопытным в любви:

Муци любовны. «Зело ли сладны?» – наивно взлопочешь.
Аще затем я на крест триакосой возгвожден!

А вот поддразнивания вертихвостки Лесбии:

Обичь и невість. «Ах, что за поэзы!» – взлопочешь лукаво.
Аще затем я на крест триакосой возгвожден.

Но финал-то – одинаков. Для всех поэтов финал всегда одинаков, и не Лесбия тому виной. Никогда не могут поэты остановиться в любви, спускаясь в песенный Аид глубже и глубже, за тайным своим идеалом.

Вот еще пример – «Песнь отчаяния» почти позабытого ныне Неруды:

За марево над мертвой водой,
За пределы сущего, за край желаний...
О плоть, плоть женщины, которую я познал!
В сей туманный час – кличу душу твою!
Ты была вазой, приютившей бесконечную нежность,
И бесконечное забвение надломило тебя...
И на черном песке островов одиночества —
Там, женщина любви, приняли меня твои руки.
Эра голода и жажды – и ты была яблоком Рая.
Эра похорон и руин – и ты была Даром.
Ах, женщина, как могла ты вынести меня —
В лоне души твоей и на кресте твоих рук!
Я желал тебя ужасно, мановенно,
Беспорядочно, ослепленно, рвал построма...
Кладбище поцелуев, твои могилы еще тлеют,
Жжет глаз пираканты исклеваный грозд...
О, искусные уста, несытые лобзаньями члены,
Изблоставшиеся зубы, заплетенные в косы тела.
О, дикое фанданго мольбы и страсти,
Столкнувшее и разбившее нас...
Ты – нежность, стрекозою вспорхнувшая над мертвой волной,
И слово, рвущееся с губ.

У женщины мало шансов выжить в этом Аду. Остается либо насмеяться над поэтом, как Лесбия, либо полностью раствориться в нем, как Эвридика.

Целительница ночь

И после песни отчаяния что более остается поэту? Уход в себя, уход в потусторонность... где живы идеалы и мечты – вослед Поэзии.

Вспомним «Оду соловью» Китса. Говорит сам поэт:

Though the dull brain perplexes and retards:
Already with thee! tender is the night,

And haply the Queen-Moon is on her throne,
Cluster'd around by all her starry Fays
But here there is no light...

Мне очень-очень-очень нравится перевод Евгения Витковского, но именно как поэтическое произведение. Но к переводу – у меня (или Мэтта) есть ряд «буквоѣдливых» вопросов:

1) Ките явно говорит: «Хоть притупленный разум сбивается и медлит». Как отсюда вышло «Сорвав земного разума вериги» – непонятно. Лирический герой Китса не революционер, и никуда не рвется в гордом порыве, а – попросту не от мира сего.

2) Это становится совершенно понятным, если проанализировать «Tender is the night» (Фицджеральд не зря выбрал сии слова заголовком своего романа). Во многих и многих переводах «Оды соловья» мы действительно читаем «как ночь нежна» или прочие вариации. У Евгения Витковского, к счастью, этот момент хотя бы просто пропущен: просто «кругом царит прохлада». Между тем здесь tender это не просто красивое слово, а несущая конструкция. Tender в данном контексте значит «сиделка» или «целительница». Согласитесь – это совершенно другой смысл!

3) Также непонятно, почему «Луна торжественно взирает с трона», если в оригинале употреблено haply (случайно). Противоречие с тем, что на самом деле сказал Ките, только усиливается. Мы получаем горячащегося поэта, вышедшего поздним вечером подышать в сад, вместо глубокого ментального конфликта между разумом (реальной жизнью) и поэтическим бытием.

Как должно было бы быть? Возможно, так:

Покуда смутен разум вялый – я
Уже с тобой! Нежна сиделка Ночь:
Пусть месяц-временщик на тучном троне
Внимает лести светозарных фей, —
Но мрак не превозмочь.

Более легкую форму того же помешательства (хотя судим мы, конечно, только по внешним признакам болезни – стихам) можно наблюдать и у Рильке. Особенность Рильке та, что многие стихи написаны им от женского лица. В романе моем потому поклонницей и переводчицей Рильке является героиня. Какое иначе имя могла бы она носить, кроме имени Евы?

Стихотворение «Die Liebende» («Любящая») хорошо иллюстрирует, как Рильке вообразил себе идеальную женскую любовь – и свою (поэтическую) роль в этом превращении. Вот последняя строфа:

Aber jetzt in den Frühlingswochen
hat mich etwas langsam abgebrochen
von dem unbewußten dunkeln Jahr.
Etwas hat mein armes warmes Leben
irgendeinem in die Hand gegeben,
der nicht weiß was ich noch gestern war.

Что не может не поражать каждый раз при чтении Рильке – удивительная легкость его немецких слогов. Никаких проблем с переложением! И Ева, попав в эту нежную словесную сеть, уже не могла прерваться, предлагая (сама себе) новые и новые варианты самопожертвования-перевода:

А теперь весенние недели
жизнь мою перелучить сумели,
кончена бездушная пора.
Откликаюсь я тебе беспечно, т
олько ты не ведаешь (конечно!),
чем же я была еще вчера.

Или:

И любви пробившаяся сила
будто годы напрочь отломила,
будто бы от темного ствола...
Разметелив старой жизни пути
и привив все светлые минуты
мальчику, не знающему зла...

Разумеется, на самом деле Рильке окружала вся та же жизнь, что и всех нас. И все, что остается в этом случае поэту – сделать Поэму из любой неважной с житейской точки зрения интрижки или даже мечты об интрижке (никто из-за этого не стрелялся, никто ни с кем не сбежал, никто даже не сошел с ума по-настоящему – с точки зрения докторов). Так было у Пушкина с Керн. Так было у Рильке с Катариной Киппенберг, женой его издателя. Интрижки – с точки зрения обывателя. Но какие стихи! Какая сила мечты!

Стихотворение «Frühling» («Весна»), посвященное Катарине, приводится ниже в прекрасном переводе Вячеслава Куприянова с одной лишь поправкой. В немецком, как известно, все имена существительные пишутся с заглавной буквы. Поэтому у Рильке написано Garten (Сад). Поэтому ниже я оставил Сад с большой буквы – понятно почему:

Видно, виновата дымка эта,
мы вошли в весеннее томленье,
как в игру неясной тени с тенью
на тропе в Саду, в наплыве света.
Тени причащают к Саду нас,
тени листьев лечат от испуга
пред преображеньем, и сейчас
мы уже не узнаем друг друга.

Ах, опять эта ночь мечты! Соединение с Любящей и уход в Сад.

В конце жизни, увлекшись французским, Рильке написал целый сборник «Vergers» – «Сады». И вот последняя мечта, последнее пожелание поэта («Ce soir mon coeur fait chanter...») – последнее отслоение от действительности:

По струнам сердце рвется,
переломив мотив...
Но музыки шепотца
взойдет до горних нив:
Могут ли я отседне
не быть – и в оный Сад
касанием Господним,
безгласный, восприят?

Как видим – рядом никого. Все те женщины, что увивались за Поэтом при жизни, все они, свершив свой труд минутного вдохновения, растаяли в прозрачном воздухе, во Сне, окружающем нашу маленькую жизнь.

Слово

В Начале – было Слово. А в конце?

То, что начиналось как игра слов, бывает, оканчивается Словом. Так произошло с Гумилевым. Начиная с харит, конкистадоров и прочей словесной мишуры, поэт буквально выковал из себя Поэта. И вот его манифест-приговор:

Но забыли мы, что осиянно
Только слово среди земных тревог,
Что в Евангелии от Иоанна
Сказано, что слово это – Бог.
Мы ему поставили пределом
Скудные пределы естества,
И, как пчелы в улье опустелом,
Дурно пахнут мертвые слова.

Именно приговорная часть этого манифеста всегда удивляет. Тело наше (скудные его пределы) – храм, покинутый Духом, все понятно. Но почему такое обобщение на всех? Почему нет, как говорилось в советскую эпоху, положительного примера? Неужели все должны оканчивать свой поэтический путь деградацией?..

Гумилева можно только бесконечно уважать. Именно за то, что он никогда не был идеалом, но всегда стремился быть им. Как он шагал под пули, боясь бояться, так он шагал и по поэзии. И мое объяснение – «Слово» Гумилев написал не для кого-то и не про кого-то, оно написано им для себя. Выразив все, чем он в поэзии боялся стать, он именно себе лишний раз давал строгий наказ. Любой пишущий человек знает об огромной пропасти между собственным бытовым поведением и своим «лирическим героем». И поэт-Гумилев дал свое напутствие Гумилеву-человеку.

И все же – приняв такое рассуждение по сути, – все равно непонятно, как могли бы эти «мы» поставить Богу-Слову предел? И, второе замечание, не по-христиански было бы Богу обижаться и полностью, безвозвратно покидать паству.

Иногда я думаю (я не теолог ничуть, конечно, но кто же запретит философствовать?), что Бог – это наше коллективное сознание (или сверхсознание, кто знает?). Бог – это мы. И в данном контексте – конечно, это именно мы сами себя и ограничиваем, сами себе запрещаем стремиться «за пределы». Поэтому – в диалоге с Гумилевым – я настаиваю, что «улей» жив и вечен. А «мы» – зависит от нас:

Позабыли мы, что осиянно
Только слово среди земных тревог,
Что в Евангелии от Иоанна
Сказано, что слово это – Бог.
И себе оставили пределом
Жадные желанья естества —
И, как трутни, перед ульем зрелым
Копшатся мертвые слова.

Я приведу сейчас один курьезно-печальный пример на тему Слова.

Пушкин – им наша поэзия жива, и он до сих пор ее главный эталон (а точнее – бесконечное множество эталонов). Иногда думается, что Пушкин и говорил поэтами, – но это, конечно, слишком расхожее мнение. Он-то изводил чернил не меньше прочих в поисках правильного Слова. Вот один из его стихов:

Два чувства дивно близки нам —
В них обретает сердце пищу —
Любовь к родному пепелищу,
Любовь к отеческим гробам.
Животворящая святыня!
Земля была <б> без них мертва
Как пустыня
И как алтарь без божества.

И это – вариант после нескольких правок, причем седьмая строка так и осталась недоконченной, что дало большой простор воображению всех пушкинских публикаторов. Простор-то дало, но как они им воспользовались! Существует целое текстологическое исследование, где автор, матерый пушкинист, много и верно анализируя, приходит к безупречному выводу «о практически универсальном использовании Пушкиным симметрично-параллельных семантико-синтаксических конструкций при перечислении, сопоставлении, сравнении». Таким образом, автор убедительно доказывает – кому? Пушкину? – что лакуна в седьмой строке должна также иметь в своем составе отрицание «без»:

Как <без> пустыня.

А далее следует вот какой замечательный постулат: «Далее вступает в силу закон семантической сочетаемости. Предметов (явлений), без которых пустыня была бы абсолютно мертва, не так уж много: «вода», «ключ», «ручей», «колодец», «источник» или, наконец, обобщенное – «оазис»... Какое же из них целесообразнее использовать для редакционной конъектуры?».

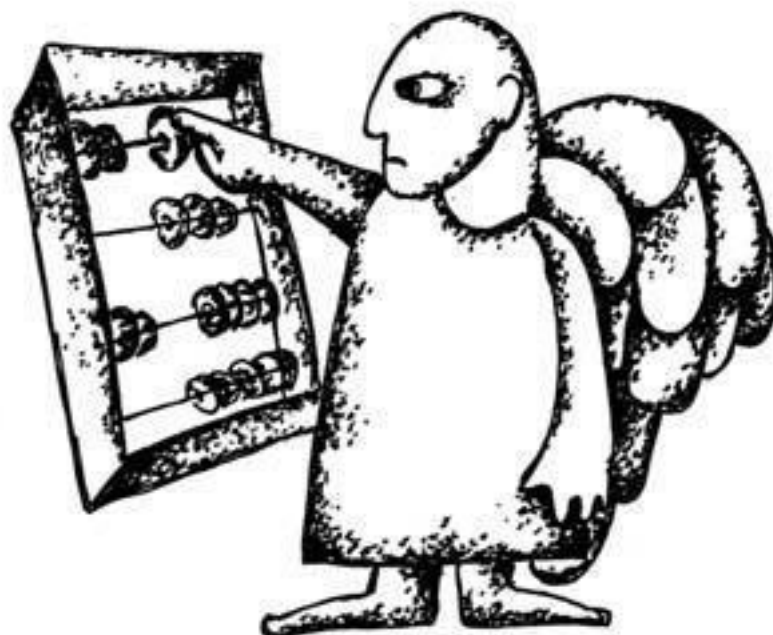
Боже ж мой! Понятно, что автор исследования был связан по рукам задачей «редакционной конъектуры» и в принципе не рассматривал вопрос, что Пушкин-то мог бы и не постесняться и вообще вымарать всю строфу (как он уже сделал с предыдущим вариантом) и написать еще вариант, и еще, и еще. Но даже в этих рамках – можно ли литератору быть настолько банальным в обращении со Словом: «предметов, без которых пустыня была бы абсолютно мертва, не так уж много» – и далее краткое перечисление на тему воды? Все равно что написать: «И как алтарь без иконы». Ведь не так уж много других предметов, без которых алтарь не алтарь!

Я жил тогда на Лонг-Айленде, в городке Ист-Медоу, на Аарон авеню. Вполне добропорядочный адрес. Тихо. Вечера и ночи я просиживал обычно в столовой, работая над «Аттракционом», – в крыше было красивое окно-фонарь, и в ясную ночь (каких там много!) можно было, погасив свет, видеть почти родные звезды.

Конечно, этот маленький шедевр Пушкина я и до того читал (кого не потчевали Пушкиным в советской школе! Евгений Онегин в 8-м классе! Идиоты!), а все же именно звездной американской ночью мне все стало ясно:

И Мэтт с чувством (ай да сукин сын!) отстучал:
«Как без отшельника пустыня»...

Так я понимаю чтение стихов.



Хосейн Табатабай **Иран г. Тегеран**



Переводчик поэзии и прозы. Образование высшее – Философия науки. Публикации: перевод с армянского на персидский романа «Резидентгт», издательство САЛЕС (0014).

Работал в России в должности атташе Культурного представительства при Посольстве Ирана в Москве с 2011 по 2015 гг.

Из интервью с автором:

Интересы – литература, история, стихи.

В данном сборнике представлены мои переводы произведений нескольких современных поэтов Ирана.

© Табатабай Х., 2017

Нима Юшидж
(1895–1960)

* * *

Пей свой чай,
Не беспокойся о завтрашнем дне.
На нашем пшеничном поле
Осталось немного соломы
Для ветра.

* * *

Может, помнишь меня, может, нет,
Но память о тебе
Не исчезает из моего сердца.

Форуг Фаррохзад (1935–1967)

* * *

Иногда нужно
Заменять ложью правду
И правдой ложь.
Не бывая обманутым,
Трудно жить!

* * *

Никто
Не представит меня
Солнцу.
Никто
Не приведет меня в гости к воробьям.
Запомни полет.
Птица умирает.

* * *

О добрый человек!
Если однажды придешь в мой дом,
Принеси свет
И маленькое окно,

Из которого
Я увижу толпу и веселый переулочек!

Сохраб Сепехри (1928–1980)

* * *

Будем просты.
Хоть у окошка кассира,
Хоть где-то под деревом.

* * *

Каждый,
кто дружит с птицами,
Спит самым
Спокойным сном.

* * *

Приди,
Чтобы я сказал тебе,
Насколько огромно
Мое одиночество.

* * *

Жизнь —
Это мечта о море
В воображении рыбки в банке.

* * *

Нужно закрыть зонты,
Нужно идти под дождем,

Нужно нести под дождем свою память,
Всем горожанам нужно идти под дождем,
Под дождем нужно встречаться с друзьями,
Под дождем нужно найти любовь,
Под дождем нужно играть,
Писать,
Говорить,
Сажать лотос,
Под дождем нужно спать с женщиной!

* * *

Я видел поезд,
Который загрузился политикой
И ушел совсем пустым!

* * *

У жизни есть крылья,
Простирающиеся до смерти.

* * *

Жизнь —
Это странное чувство,
Которое есть
У перелетной птицы.

* * *

Не важно, где нахожусь.
Небо – у меня.
Окно, мысль, воздух, любовь и земля – у меня.
Что важно?
То, что иногда вдруг
Вырастают грибы ностальгии.

* * *

Самое прекрасное —
Достичь такого взгляда,
Который является влажным
из-за событий любви.

* * *

Не в том наша цель,
чтобы постичь тайну розы...
Возможно, она в том,
Чтобы раствориться
в магии розы.

* * *

Если хотите навестить меня,
Приходите тихо, неторопливо, —
Не дай бог треснет, сомнется
Тонкий шелк моего одиночества...

* * *

Вместо политики
Сажаем деревья,
Чтобы воздух
был свежим.

* * *

Я не знаю,
зачем говорят:
«Лошадь – скромная,
Голубь – красивый?»
Почему никто не вспомнит
О грифе в клетке?
Надо промыть глаза,

По-другому смотреть и видеть.

* * *

Создаю свои руки
Вокруг твоего тела
Как цепь,
Чтобы
Запирать Время.

* * *

Жизнь не пуста.
Есть доброта,
Есть яблоко,
Есть вера.
Да
Пока есть тюльпан,
Надо жить.

Ахмад Шамлу (1925–2000)

* * *

Попросите часы поспать.
Не нужно отсчитывать
Жизнь напрасно!

* * *

Вели
Похоронить меня обнаженным —
Так,
Как мы занимаемся любовью.
Потому что
Я хочу влюбленно смешаться с почвой
Безо всяких покровов!

* * *

За пределами твоего тела
Я люблю тебя!

* * *

О глупец человек!
Я тебе не враг,
Я – твое отрицание.

* * *

Лечение моей старой раны —
В уголках твоих губ.
Не хочу поцелуя,
Скажи что-нибудь.

* * *

О любовь... О любовь,
Не видно
Твоего знакомого цвета.

* * *

Как сложно
Объяснить что-либо тому,
Кто получил деньги за то,
Чтобы не понимать...

* * *

Для тебя, для твоих глаз.
Для меня, для моей боли.

Для нас.
Для этого огромного одиночества.
Если бы Бог сделал что-нибудь...

* * *

Море
Завидует глотку воды,
Который
Ты выпила из родника.

* * *

И весь мой мир
Заключен
В твоей теплой рубашке.

* * *

О Боже, Боже!
Девушки не должны молчать,
Когда мужчины,
Уставшие и безнадежные,
Стареют.

* * *

Я – одиночество одного дерева
И не имею другой выгоды,
Кроме того, чтобы на моих ветвях
Было бы твое гнездышко.

* * *

Горы – едины и одиноки,
Подобно нам, все вместе и одиноки...

* * *

Живодер —
Плакал.
Он влюбился,
В маленькую канарейку.

* * *

О милая!
Странное время.
Нужно скрывать любовь
В чулане.

* * *

Сказал тебе:
«Будь моим маленьким воробушком».
Чтобы в твоей весне
Стать мне цветущим деревом.

* * *

Гора начинается с первого камня,
и Человек —
с первой боли.
Я начался с первого твоего взгляда.

* * *

Чтобы жить,
два сердца нужны:
одно —
чтобы любить,
и другое —
чтобы любили его.

**Ахмадреза Ахмади
(1940)**

* * *

Если поможет мое сердце,
Я сосчитаю осенние листья,
Которые убегают от осени
И воссоединяются с зимой.
У меня все еще есть повод,
Чтобы жить.

* * *

Я прошу
Мое больное сердце,
Чтобы билось
До твоего прихода!

* * *

Я ее поцеловал.
Уж мне не страшен
Конец света —
Я взял свою долю от мира!

**Гярус Абдолмалекиан
(1980)**

* * *

Неужели
Твой чемодан был так огромен,
Что ты взяла с собой
Всю мою жизнь?!

* * *

Если бы
Был дождь,
Была ты,
Была одна бесконечная улица,
Тогда бы я сказал миру:
«До свидания!»

* * *

Я пишу твое имя
В скобках,
Которые замкнут его
Навсегда!

* * *

И луна:
Это рот какой-то красавицы,
Которая
Возвышает свой голос
Четырнадцать дней подряд.

* * *

Твое платье
Трепещет на ветру.
Это единственный флаг,
Который я люблю...

* * *

Лес —
Это лишь одно дерево,
Которое тысячу раз
Убежало из земли.

* * *

Ничто
Не свежо так,
Как смерть.

* * *

И никто не знает,
Уходит
Или приходит!

* * *

Как найти тебя,
Когда не помню,
Как потерял тебя...

* * *

Внутри меня —
Крики дерева,
Уставшего
От новых и новых плодов.
Твоя красота —
Это осень,
Которая начинается
С убийства дерева.

* * *

Разве мы несколько раз родились,
что столько раз умираем?

* * *

Нет никакой разницы,
Ты большое море вдали
Или маленький родник.
Если ты прозрачен,
В тебе отражается небо.

* * *

Мои руки
Никогда не могут
Разделить это яблоко справедливо.
Ты —
Думаешь о своей доле,
Я —
О твоей!

* * *

Летать —
Не было мечтой этой птицы.
Она выщипала все свои перья,
Чтобы на этой подушке
Видеть другие сны.

* * *

Забудь о пистолете и смерти
И думай о пчеле,
Которая в центре минного поля
Ищет один цветок.

* * *

Это не стук сердца,
Это звук твоих шагов,
Что ночами бегают

В моей груди,
Достаточно немного устать,
Достаточно на миг остановиться.

* * *

Я чувствую:
Кто-то, кого нет,
Утомляет кого-то,
Кто существует.

* * *

Мы все боимся потерь.
Однако
Самым прекрасным днем моей жизни
Был тот, когда мы с тобой
Потерялись в чаще леса.

* * *

Городские девушки
Думают о деревне.
Сельские девушки
Умирают в мечте о городе.
Обычные люди
Думают о благосостоянии известных людей.
Известные люди
Умирают в мечте о покое обычных людей.
...
Какой мост
В какой части мира
Сломан,
Чтобы никто
Не пришел в свой дом.

* * *

Охотник не знает,
Что тот съеденный ужин

Всех заставит грустить.
Охотник не знает,
Что мои дети сейчас голодны,
И я, глупец,
Продолжаю свой полет.

* * *

Мы взяли за руки,
Ты гуляла ночью,
Я – в темноте.

* * *

Какой-то вор
В темноте,
остановился, изумленно глядя —
На картину.

* * *

Подумай о таком дожде,
Что просачивается из твоей рубашки
И из твоей кожи
И изнутри заливает тебя.

Хамид Мосаддек
(1940–1998)

* * *

Ты смеялась надо мной
И не знала,
Как я отважно воровал яблоки из соседского сада.
Садовник быстро бежал за мной,
Он видел яблоко в твоей руке
И смотрел на меня сердито.
Огрызок яблока упал на землю.
Ты ушла.

И уже давно
Звук твоих удаляющихся шагов в моих ушах
Тревожит меня.
И я думаю:
Почему в нашем маленьком садике
Не было яблок?

* * *

Дождь омыл стекла окна,
Но
Из моего сердца
Кто смоет
Ваш образ?

Настаран Восуки (1971)

* * *

Зима уходит,
Весна приходит.
Одиночество уходит,
Одиночество приходит.

* * *

Каждое утро,
Когда я открываю глаза,
Прежде всего
Я вижу реальность:
Твое отсутствие.

* * *

Зима
Вернется к весне.
Наверное, ты
Вернешься ко мне.

Но уже никогда
Чернота не вернется к моим волосам.

* * *

Я
В одном месте в мире
Чувствую себя очень счастливым:
В рамке фото, где мы вдвоем.

* * *

После тебя
У меня будет много тех,
Для кого мне писать стихи.
После меня —
Что будет у тебя?

* * *

И хочу тебя
И не хочу —
Как мать,
Которая ожидает
Нежеланного ребенка!

* * *

Пусть луна
Всегда прячется в облаках.
Ведь истина в том,
Что нет ничего, кроме твоей любви.

* * *

Ты говоришь: твоя поэзия печальна.
Дорогой мой!
Та женщина, что беременна от печали,

Никогда не родит радость.

* * *

Если бы одиночество
было птицей!
Иногда хотело бы улететь...

* * *

Ты можешь не прийти,
Но я
Не могу не ждать тебя.

Аббас Киаростами (1940–2016)

* * *

Много любовников,
Много возлюбленных,
Но мало
Влюбленных пар.

* * *

Где сейчас,
Что делает
Та,
Которую я забывал?

* * *

Всегда
Остаются незавершенными
Мои разговоры

С собой!

* * *

Когда пришла,
Пришла.
Когда была,
Была.
Когда ушла,
Была!

* * *

Яблоко упало
С дерева,
И я подумал
О твоём притяжении.

Фазел Назари (1979)

* * *

Доверчивость —
Единственная вина
Всех зеркал!

* * *

Сказал:
«Подождите,
Я видел какой-то огонь.
Наверное, принесу новости от него».
Ушел —
И вернулся пророком!

* * *

Не сиди со мной рядом
На глазах у людей:
Ты опозоришь меня
Этим сравнением!

* * *

Я
Без тебя
Ежеминутно
Жду катастрофы,
Как тот город,
Что находится
Под угрозой землетрясения.

Реза Каземи
(1970)

* * *

Мы никогда
Не достигнем друг друга.
Есть какой-то стрелочник,
Который меняет пути
В тот момент,
Когда мы сближаемся!

* * *

От пруда
Дойти до моря.
О человек!
Сколь огромно
Твое одиночество!

* * *

Почтальон
Вместо письма
Принес одиночество!

* * *

Иди под мой зонтик.
Дождь сильнее идет,
Мы позже придем!

* * *

Удвоенная мрачность —
Это значит,
Чтобы не было ее,
А ты
И вместо нее
Смотрел бы на закат солнца!

* * *

Мы лишь думаем друг о друге:
Ты – за столиком кафе в Париже,
Я – за окном моей комнаты в Тегеране,
И нет никакого моста,
Который соединил бы нас,
Кроме любви,
Которая становится старше
Год от года!

* * *

Для того,
Чтобы говорить о тебе,
Недостаточно слов —
Нужно научиться танцевать!

* * *

Одиночество —
Это я,
Когда пишу о тебе!

* * *

Идет снег.
Все радуются,
А мне грустно:
Снег скрыл твои следы...

* * *

Твои поцелуи
Отсрочивают смерть.
Поцелуй меня!

* * *

Давай доверимся друг другу,
Я – твоим глазам,
Ты – моим ногам.
И пообещаем,
Что увезем друг друга
В хорошие места.

* * *

Без тебя —
Можно жить,
Гулять,
Пить чай,
Смотреть фильм,
Путешествовать.
Без тебя

Нельзя только спать.

* * *

Я завариваю чай,
Ты накрываешь на стол,
А потом мы
Сидим за своими окнами
И думаем друг о друге!

* * *

Уйдешь
И не знаешь,
Что в твоей груди
Бьется
Мое сердце.

* * *

Поцелуй меня,
У нас будут нелегкие дни,
Разрешите мне
Немного побережь тебя.

* * *

Когда мы гуляем вместе,
Солнце ревнует.
Ведь оно никогда
Не гуляло с луной.

* * *

Давай обманем друг друга...
Я сказал бы:
«Пришла весна»,
Ты бы поверила

И пришла...

* * *

Ты – птица.
Я – небо.
Куда ты сможешь убежать?

* * *

Ты сказала:
«Я буду с тобой до конца света».
И я не знал,
Что твое второе имя —
Одиночество.

* * *

Поцелуй меня,
Пусть весь мир
Читает новые стихи...

* * *

Я устал.
Закрой свои глаза,
Я хочу немного поспать.

* * *

Приходишь – и в доме светлеет.
Уходишь – и дом разрушается.
Разве ты – как свет от камина?

* * *

Хлеб и вино
В твоих губах,
Освящай меня
С одного поцелуя.

* * *

Я не желаю
О птичьём полете,
Когда клетка —
Это твои глаза.

* * *

Одиночество —
Спать мужчине ночами
В объятиях женщины,
Которой уже нет.

* * *

Такой погоде
Не хочется зонта,
Тебя хочется.

**Эхсан Парса
(1978)**

* * *

После тебя
Я принес дождь
На эту сторону окна!

* * *

Бог
Сотворил девушку,
Девушка
Украсила мир
Для Бога!

* * *

Завяжи свои волосы!
Ты придумаешь ветру предлог,
Чтобы не дуть.

* * *

Куклы
Никогда не стареют.
Девочки —
Самые добрые матери!

* * *

Я считаю мгновения разлуки
По песочным часам.
Прошла одна пустыня...

* * *

Я поцелую зеркало,
Может быть,
Что-нибудь осталось
От твоего лица!

* * *

Луна —
Это пруд в небе,
В котором
Отражается твое лицо.

* * *

Без тебя
Мои губы —
Только для разговора...

* * *

Как бы я нарисовал ветер,
Если бы
Не было твоих волос...

* * *

Я люблю
Прогулки с тобой,
Дарю тебе дорогу
Вместо дома.

* * *

Каждый год
В мой день рождения
Все больше свечей
Плачет обо мне.

* * *

Внутри меня
Живет какой-то снеговик,
Влюбленный в солнце...
И это – краткая суть
всех любовных историй.

**Алиреза Рошан
(1976)**

* * *

Другие
Видят темным того,
Кто выходит к свету!

* * *

Не море,
Не гору,
Не небо —
Я вижу твое пустое место!

* * *

Потерялся
Каждый,
Кто искал тебя.

* * *

Сколько я должен быть ночью,
Чтобы ты была луной?

Снежана Малышева
Украина; г. Киев



Поэт, прозаик, журналист; художник фотохудожник. Родилась в 1966 году в Нижнем Тагиле. Автор книг: «Поэзия. Проза» (2002), «На Земле» (2004); «Стансы жизни» (2010). Лауреат и дипломант различных литературных фестивалей.

Из интервью с автором:

Стихи и статьи публиковались в журналах, литературных альманахах и антологиях. Графические работы и фотографии используются в оформлении книг и экспонируются на выставках. Преподаю рисунок и живопись, работы учеников занимали первые места на общегородских конкурсах.

© Малышева С., 2017

Туманные вариации

Подступает туман истонченной тоской по мечте,
Не читается больше граница меж явью и сном.
И два вяза подобны чуть грустной влюбленной чете,
Что в слиянии губ растворяют нечаянный ком,

Тот, что болью порою подходит соленой к глотку
И уходит слезами в забытые прошлые дни.
Нас ласкает туман, рассыпая росу по платку,
И ложится на плечи, и кажется, в мире одни
Мы и вязы. Нас узами снов обвязав,
Покровитель-туман отменяет на башнях часы
И ведет в облака... Даже мзду за услугу не взяв,
Ускользает в проулки. Хвостом черно-бурой лисы
Машет в тихих дворах и приветствуя радость зари,
Обнажает мосты, открывая проезды и реки.
Отоспавшийся город напомнит портрет Самари —
Колорит Ренуара впитали проспекты, аптеки.

Мы

Дети, не видевшие восходов, не помнящие заката
Ни одного, живущие у экрана, стены, плаката.
Дети, не помнящие лунной и звездной выси,
Не отличить нам следов. Волчьи, лисьи?
Дети кварталов серости и стандарта,
Дети постмодернизма или поп-арта.
Слово для нас игрушка – так для азарта —
Можно перекрутить и написать на парте.
Нет сокровенного, кровь не бурлит в венах —
Так холодна... а душа превратилась в гиену.
Падаль вкуснее, съедобнее, пахнет приятно,
Точно от бака перед парадным родным – понятно.
Запахи леса, поля – странны, чужие.
Запахи города ближе – они не живые.
Жизнь проживая безжизненно, старцы-младенцы
К дереву духа примкнули как иждивенцы.
И в лабиринте дорог и других строений,
Под шелест шин и звуки рекламных прений,
Лоббируя рьяно свои интересы, чужие задачи,
Мы «делаем шопинг», гейтуем – нахальны, уже не зрячи.
Мы реагируем только на броскость клипов.
Что нам оттенки, зелень каштанов, липы?
Это у Брейгеля было – слепые в яму...
Все у нас в норме! А в яму? Ну, может спяну...
И хладнокровно и ровно вращая в карьеру,
Только в болезни еще вспоминаем Венеру.
Секс мы рифмуем упрямо с Сикстинской мадонной.

Долго нам падать еще? Эта пропасть бездонна...

Киевская ночь

В воздухе влажном важно застыла лавра,
Днепр в отраженье вобрал городские гирлянды.
Города нет, только во тьме как лава
Стекают к подножьям холмов нарядны —
Церкви, дома, гостиницы – массой света.
Цепями огней мерцают дороги, машины.
И кажется, что вот сейчас, не спросясь совета,
Я ввысь поднимусь, обернувшись плащом мышиним
Неба, над городом маревом темным висящим.
И буду смотреть с высот на красоты земные.
Покажутся мне соборы, мосты – настоящим.
Ведь сверху мы небу видимся чуть иными...

Образ жизни...

Растила детей, подсолнухи, огурцы, картошку.
Мыла детей, полы, посуду и окна.
Кормила детей, собак, кошек и нищих —
Наших, подъездных, дворовых, пришлых.
Проходила мимо витрин, не перейдя Рубикона
Двери, продавщиц, смотрящих на нее как на мошку.

Проходила мимо бананов, красивых гардин,
Маленьких черных платьев, ювелирных приколов.
Проходила, ведя за собою детей, собаку, отца.
Проходила и даже не поворачивала лица,
Думая сколько стоят лекарства, для маминых уколов,
А вечерами смотрела сериал про Гардемарин

И представляла себя в кринолине, а его в камзоле.
А он приходил, и не было у него сил умыться.
Вела его в ванную и долго и нежно мыла.
Потом говорили, вспоминая Мефодия и Кирилла,
А он умилялся: «Какая ты умная, киця!»
Вот только диплом филфака не нужен в поле...

Пять пятистрочий для уходящего лета

* * *

Плотность яблок граничит с непознанной плотью,
Что платье скрывает несмело.
Мелом натерты облака в небе.
Небо чуть сводит от вкуса неспелого...
Песни снов моих звучат в твоём взгляде.

* * *

Персики созрели в твоём саду.
Стоит ли говорить о ветвях, тянущихся к земле.
Тление уже коснулось плодов.
Вдовьи вопли плетут постылые сны,
Но персики в саду твоём – это так много...

* * *

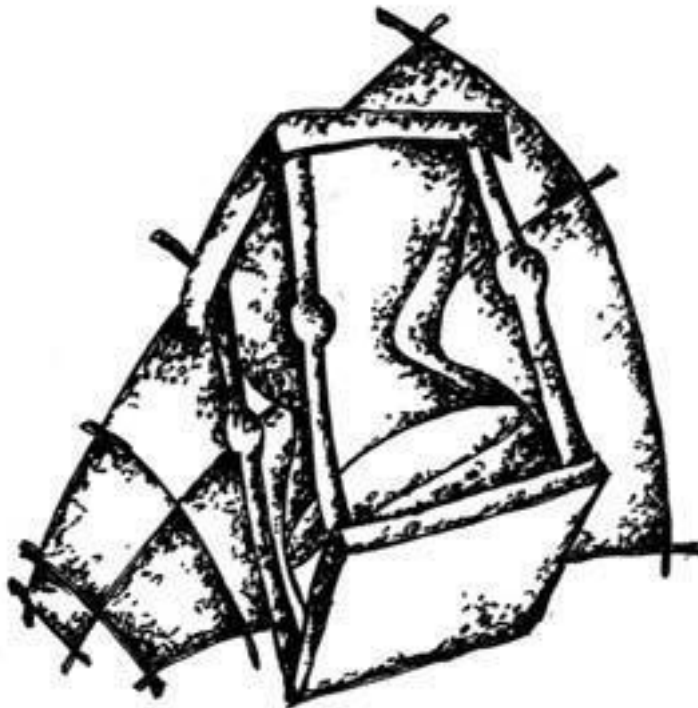
Сливы, подернутые инеем,
Каплями слов несказанных свисают.
Ветер спутал ветви, и веки
Прячут глазное яблоко от ясности дня.
Иным представляется мир внутри...

* * *

Чёрные головы подсолнухов плачут,
В землю роняя семя.
Ряды склонившихся тянутся к горизонту.
И закат накрывает пурпурным плащом
Повинные головы.

* * *

Змеиный язык дороги жалит небо.
Солнце горит болью укуса,
Но закатная лазурь надеждой
Замыкает кольцо бытия,
Проникая в чешую асфальта.



Холодный июнь в Коктебеле

Июньские дожди и склоны юно
Зеленым бархатом приманивают глаз,
И в облаках луна, ан нет – топаз,
Все смотрит скорбно на могилу Юнга.
Хамелеон, рождая мели вокруг,
Худеет на глазах, меняют сели
Его горбатый стан. И еле-еле
Видна еще тропа, где власть испуг
Берет над душами боящихся полета,
Где чаек скорбный крик, как эхо снов,
Где, потеряв себя, несем покров
Из страха вечности.
И сладки капли пота...

Постпетербургское

Художнику Андрею Демину с благодарностью

Всё множатся во мне фрагменты Петербурга,
Объятия колонн и космос площадей,
И всадник надо мной, под ним звенит подпруга,
В нем ужас и восторг, он главный лицедей.
А ветер, растеряв слепой восторг в фасадах,

Вновь полетит стремглав, приветствуя Проспект.
И мы с тобой вдвоем, как выходцы из Ада,
Плывем Фонтанкою, и призраки карет
Плывут за нами вслед, теряя пассажиров,
И видится седок с курчавой головой.
Истории прокат не требует кассиров.
Сам Питер – кинозал, мы зрители с тобой.

«Замкнут в утробе, в робе...»

Замкнут в утробе, в робе —
До боли в ребре.
По обе стороны не мы – они!
Тенета терниями в яме событий.
Битый чужими с ужимками,
Своими – с воем и причитаниями,
Я таю в пространстве века.
Камнем на шее вещее слово.
Олово кипит в чаше истории!
А я пою оратории
Керамической чашкой, чьей-то женой.
В Ноевом ковчеге Чигиринских¹ круч
Чутко, касаюсь пальчатки².
Четками дни:
«Динь-дилинь».
История – линь.
Уже последние стали первыми,
По нервам стучат.
Тучи слов киевского чата.
Песнь предателей лейтмотивом...
А ты как Див, но в кувшине
Запечатан страхом,
Бытом хомячьим томим...
Идет пантомима!
Потом озвучка...
Кучка раскачивает страну!
Поднесите меня к крану
Освежить прану,
Но скорее освежают мое тело,
Если я смело! К ним на площадь...
Прощать надобно...
Но, подобно Сизифу,
Прошу Каифу: «Остановись!»
Висельники да возвеселятся...

¹ Чигирин был резиденцией Богдана Хмельницкого.

² Пальчатка – вручную формованный кирпич, сохранивший отпечатки рук (из него построена чигиринская крепость).

Чаянья меньше чайнок

Мельчают желания, чаянья меньше чайнок.
Но иноком бродит вчерашний не чайный конфликт.
Обида плывет по течению вен. И личинок
Бесплодных желаний не счесть, когда тянет на флирт.

Литровку прозрачного зелья зальем себе в чрево,
И ревом звериным наружу прорвется тоска.
К чему теперь флаги? Букетик из львиного зева
Прикроет надгробие, рядышком ляжет СК.
Из грязных стаканов... И ржавым ножом нарежая,
Нетрезво кивая нестриженной мне головой,
Ты вымолвишь вдруг, обращаясь к надгробию: «Зая».
И имя не вспомнив, ругнешься, красивый и злой.
Ну, сколько их было и «Рыбок», и «Маленьких», «Сладких».
И ладные были, живые, любись хоть когда.
Теперь фотографии их, что на камне заплатки,
Оградка, колбаска и слово: «Теперь никогда...»
Когда-нибудь, может, ко мне ты придешь, крест погладишь,
Припомнишь случайный конфликт и колбаску, меня...
И скажешь тихонько: «Какие же славные Бляди...»
И ляжешь на холм так устало, уже не кляня...

По мотивам картин Сергея Сергеевича Пономарева «Нора», «Гнездо», «Вечная любовь»

Вот два квадрата, два окна в мир неба и летящей жизни.
В одном – огонь, руины дна, венки прощения капризный.
В другом – лазурь, любовь, гнездо и женщина в желанной позе.
Кому изведать суждено мечты, сбывающейся в бозе?
Цветы и город, но в одном венки несет сквозь пламя вестник.
В другом окне – мужской полет к любимой в города и веси.
В окне лазурном – он, она, и город цел и груди полны.
В другом – оставлена одна, и лишь ребенок счастье помнит.

А вот и вечная любовь. Лицо под маской макияжа
И тело полное ее уже не украшает пляжа.
А пляж пурпурно обагранный, вдали качает темень сон,
И смерть в античном балахоне, услуживая как гарсон,
Готова поддержать в паденье.
Что вечность?
Только повторенье.

«Скользит рука по ветхим переплетам...»

Скользит рука по ветхим переплетам...
Осваивая методы слепых, я трогаю нечеткость милых впадин.
В них образ букв предшествует полету
Мыслительных сентенций.
Старых ссадин
Коснутся пальцы на обложках книг,
И вспомнится:
мальчишка,
парк,
пикник,
а книга как защита,
будто щит!
Но занесенный меч его поник.
Он прочитал название: «Афродита».
О боги! Неужели миф любви
Так стоек:
Греки,
войны,
Троя...
Он отступил...
Я крикнула: «Лови!»
И бросила свой щит к ногам героя.
Скользит река...
Прочитана давно
И даже позабыта книга судеб.
А я читаю:
сад,
цветник,
окно...
И кто-то там играет в домино.
Все складно,
но Его уже не будет.

«Потоки слов неуловимой ртутью...»

Потоки слов неуловимой ртутью
Скользят в вечернем сумраке, теряясь.
Сочится чувство сквозь неровность фраз.
В них сам Басё вырастает в суть времен,
И детство улыбается сквозь томик
Стихов, забытых мамой на подушке.
И слово «Суламифь» наполнит чувством
Уже давно забытые пространства,

Где чуден каждый шаг,
А запах трав тревожит подсознание.
Непознанное счастье обладаний...
Мы ошибались.
Мы спешили.
Забывали.
И только Карадаг все помнил, превращая
Ошибки наши в камешки на пляже.
Мы собирали их, несли, роняли,
Топтали обнаженными ногами
И восхищались...

«Дождь, Толстой и Бородино....»

Дождь, Толстой и Бородино.
И вот вскипает сад предгрозем,
Вздымая ветви в плясках ветра.
Поет душа, забывши прозу,
Слагая стих, где пеной вера

Вздывается из страха счастьем.
И тяжело небо тянет синюю.
Как будто первое причастье,
Раскаты грома. Дождик ринет

На поле, речку с берегами,
По крыше прогрохочет дерзко,
Омоет камень, что веками
Кого-то прах таит безвестно.

Вот так, наверно, пред сраженьем,
Смешав любовь и безрассудность,
Господь смотрелся в отраженья
Лица, в белесую безусость.

И пахло Русью! Пахло смертью.
И первые уже упали,
И будто под ударом плети
Вздымались лошади. Там Кали,

Аид, Анубис, слуги Мары —
Сошлись на поле в предвкушенье.
И Бог повел свои отары
К Бородино, на воскрешенье.

Причитания

Ох, сиротскую душу грешную,
Ой, потешил ты. Ну тя к лешему.
Растревожил ты ночку темную,
Как же душу мне неумную
Спать заставить вновь, да безропотно?
От тоски такой внутри копотно.
Копоть черная скрывает мысли все,
Петь хотела я, слова вышли все.
Только дрожь пошла, да поземкою,
Слезы катятся, платя комкаю, —
Как бы мне теперь утро ясное,
Как бы мне теперь солнце красное,
Как бы мне теперь руки нежные, —
Но метет судьба бури снежные.
То ль сугробы всласть, то ль урочища
Заметает ночь, полнит полчища
Тайных дум моих, тайных суженых —
Стаи чувств моих неразбуженных.

Начало века

Снег с нежностью китайского фарфора
Нижинским фуэте кружил на сцене.
Готической мелодией собора
В софитах, поклоняясь Мельпомене,
Парили херувимами снежинки
На фоне декораций Киев-града —
Чуть жухлых, как на старом фотоснимке.
И негативом призрак авангарда
Носился в запорошенном Печерске.
И все казалось, где-то канонада
Звучит. И будто бы на фреске
Желтели купола. Исчадьем ада
Мне рисовались сгустки черных зданий.
И век двадцатый – может, двадцать первый —
В сердцах рождался. Сколько испытаний
Предложит он, строптивый и неверный...

«Рыжие бабы на змее распутства и крови...»

Рыжие бабы на змее распутства и крови,

Рыжие боги на наших грехах, как на рее.
Мы распинали события. И хмурили брови
Ангелы белые, тихо и чувственно рея.
Родом из рыка, из лона волчицы, гиены —
Наши мечты, освященные падалью века,
Рвали нам души, но были клочки те нетленны.
И расцветали в нас снова светила ацтеков.
Рылом свинячьим нам хрюкали в спину измены,
Черным плащом укрывали и прятали в страх.
Но наши белые братья по вере степенно
Крыльями чистыми ночь разгоняли. В стихах
Словом лечили, слезами торили дорогу,
«Ом» омывали священным созвучьем «Аминь».
Труден наш путь от неверия к вере и к Богу.
Трудно сказать черным сумеркам белое «Сгинь».

Гимн тыкве

Разве знаете вы, как красивы
Эти рыжие тыквы под осень?
Они радость божественной силы!
Так огромны! Их еле выносят,
Обнимая как царственных женщин,
Грузят тыквы в телеги и в МАЗы.
Вы заметили, бежевых трещин
Сеть на брюшках, как целая фраза.
Роспись бога на каждой огромной
Тыкве цвета небесного света.
Удивись каждой тыкве! «Ну, трогай», —
Скажет возчик. И будто бы лето
Поплывет на телеге меж нами.
Тыквы – звезды медового цвета,
Светят миру крутыми боками.

Белле Ахмадулиной

Расширенным зрачком под шляпкой темной жгуче
Вы смотрите вослед растерянным годам,
И кажется, что в вас бесстрастно-неминуче
Пульсирует стихом российский Нотр— Дам.

Покорною тропой приокского овражья
Вы выйдете на холм, дарующий покой.
Скульптурный мальчик спит, неровно, чуть протяжно.
Ему прочтете стих и тронете рукой

Его изгиб спины, холодные лодыжки
И улыбнетесь так, как будто бы во сне
Вы встретили себя и не узнали в книжке
Свои стихи, что здесь
писали по весне.

Я была

Сарацином и служкой династии Цинь,
Крестоносцем, Батыем, сжигающим Спас,
Тем солдатом, что вымолвил тихо: «Хатынь»,
Моджахедом, что девочку белую спас.
Я была темнокожим сирийским стрелком,
Белый конь Александра меня обгонял.
Выходила корриду смотреть на балкон.
Вместе с Ним прогнала я из храма менял.
Только время ушло – затуманилась быть,
Балансирую между забыть и не знать.
Мое слово, как будто ненужный костыль,
Моя память – чванливая старая знать.
Помню только снега за уральским хребтом,
Помню только пески, минарет и ковыль.
И не знаю, что было тогда и потом,
Помню только ту жизнь, что стирается в пыль.

Разговор

– Милый, может, не умерли мы еще?
Только странно, трава проросла сквозь плечо...
Только вот у тебя в уголке у рта
Зацвели незабудки вчера с утра.
Слышишь, бьется сердце твое в груди.
– Обозналась ты, пароход гудит
И плывет по реке, что меж нами течет,
Омывая твое и мое плечо.
– Может, живы мы, ведь вздымается грудь.
– Это просто песок осыпается чуть,
Это ветер и воды размыли его,
Мы с тобою уходим в него...
сквозь него...

Дмитрии Ванин г. Москва



Родился в Пензе. Учился в МФТИ, работает в страховой компании. Печатался в журналах «Сура», «Пролог» «Красный Серафим» и нескольких сборниках.

Из интервью с автором:

Увлекаюсь книгами и шахматами. Пишу мало, несколько стихотворений в год, поскольку очень редко могу угодить своему вкусу. Не писать совсем не получается. Все время вспоминаются слова Бродского о том, что «поэзия – это наша видовая цель».

Без нее жизнь пустеет.

© Ванин Д., 2017

Страница

По какой странице эпоху твою прочтут,
с укоризной над ней головой качая?
Напиши на полях про свою мечту
перед тем, как оставить ее, отчаясь.
И далекий читатель над горкой книг
улыбнется, вспомнив себя другого,
как лицом к лицу вырастают дни

по течению времени круговому.



Утро

В квартирке на окраине темно.
Еще ночная тень лежит на веках,
лишь заплутавшим странником в окно
заглядывает ниточка рассвета.
Так тихо, что ни шороха, ни
звука шин за окнами не слышно.
Еще горят над городом огни
и маленькие звезды – чуть повыше.
И человеку снится чудный сон
про шепот моря, синеву созвездий,
и кажется ему, как будто он
в каком-то сказочно красивом месте,
в котором нет ни «если», ни «зачем»,
и не бывает никогда иначе...
Уснул у человека на плече
отсвечивающий от лампы зайчик.
Ночь тихо отступает от окон,
и утро замирает в ветках.
Ни боли, ни печали, только сон.
Лишь тени на лице у человека.

Тоска по творчеству

В мире, где вещь во главе угла,

яркая жизнь, как сокол, гола.
Все – перегной, пустота, зола.
Прошлое – тлен, остальное – мгла.
Полная жизнь, как погост, пуста,
если художник писать устал.
Сколько мечты в белизне холста,
струн тишине, чистоте листа.
Господи, тихий, оставь слова
нам, неразумным, живым едва.
Чтобы была полна голова
только поэзией. Вещь – мертва.

Ночь в поезде

Ты трясешься всю ночь в прицепном вагоне,
ведь когда-то же надо было уехать,
на прожженном бархате, на медвежьем мехе
темноты, равнодушной к любой погоне.
Закатись горошиной в дальний угол,
испугавшись заблудшей нерезкой тени.
Разожгли огни, раскачали стены,
великаны в степи растеряли угли.
И немножко зябко – так тянет вьюшка.
Обернись, попробуй прожить сначала.
Мы оставили за плечами
по слезе на щечках, слова на ушко...
Навсегда неизбежность пускает корни,
очень мало нам оставляя «кроме».
Засыпай, наутро тебя накроет
не надеждой, не радостью, но покоем.

Маленькое письмо другу

Знаешь, друг,
трудные времена.

Ночь длинна,
и деревья шумят листьями.
И во тьме окна
повисла луна.

Наставь, Господи,
на путь истинный.

Я устал и, кажется,

я простужен.
Ничего не вяжется:
ни стихи,
ни любовь,
ни дружба.

Не осталось денег на сигареты.
Холодно,
на улице ветры,
рвутся в дом.

В голову не идут ответы,
ни рифмы, ни метры.

Мир встает на дыбы
или, наоборот,
умирает.

Я не из той породы,
которая все понимает.
Я могу просто быть
и могу терпеть.
Но если луна, я могу завять
и, если слишком больно,
могу умереть.

Видишь, друг,
я совсем разбит,
как синяя чашка,
как холостяцкий быт.
И вот я думаю,
где я еще не совсем забыт,
и вспоминаю тебя и всех наших.

Я пишу и надеюсь,
что станет легче.
Не берет вино,
и время не лечит,
но, может, так дотяну
до следующей встречи...

Прости мне нытье, —
со мной так вечно...

Ты же видишь, друг,
трудные времена.

Ночь длинна,
и деревья шумят листьями.

И во тьме окна
повисла луна.

Так что хочешь вой,
а хочешь – в запой.

Наставь, Господи,
на путь истинный.

«Дом твой пропах вагоном...»

Дом твой пропах вагоном.
Пять лет уже как – купейным.
К чему вся эта погоня,
бездомь, привези-копейка?
Звезды звенят в стакане,
синие километры,
и пустота – такая —
крикнуть и не измерить.
...а за окном Россия,
парит над твоими снами...
«Что привезти?» – просите.
«Не запирай за нами».
«Папа, вези мне коня!»
«К Рождеству возвращайся», —
и оттого в вагоне
пахнет домом и счастьем.

Маленький город N

В этом городе особенно медленные трамваи.
Осторожный взгляд, как зонтик над головами.
Убираешь, складываешь его под вечер,
и вечернее небо ложится тебе на плечи.

Дни здесь пересекаются, перетекают один в другой,
так, что уже не ясно, в каком ты и кто такой,
как вода, колеблются в сообщающихся сосудах.
Больше, чем было, уже никогда не будет.

И уже не ждешь от судьбы подарка,
но, присев на скамейку в осеннем парке,
вспоминаешь о тех, кто тебе был дорог,
о других городах, о любви и доме.

«С дождя, простуженный и мокрый...»

С дождя, простуженный и мокрый,
врываюсь в дом с глазами серыми
и замираю, словно окрик,
на ледяном пороге сердца.
Трепещут руки кровью алой
по вам, беспомощным и вздорным,
и окна бьются жилкой маленькой
на голубом виске простора!

Я промотаю, растеряю весь
свой голос, сорванный о нежность.
Есенин в декабре повесится,
сгорит в тоске седой Онегин...
Мне кажется, что так неправильно
жизнь тянется – темно и глупо,
и смерть – в твоих ладонях, Равви,
на миг притихшая голубка.

Написано в поезде

Бегут огни в простывших ризницах
твоих дощатых полустанков.
И эта ночь к чему-то близится,
как наш вагон – полупустая.

Нас гонит, гонит боль колючая...
Вокзалы лошадьми понурыми
в тоске, щемящей, как уключины,
впрягаются в стальное утро.

Ты тянешь мимо, Русь разбойная,
потерянная и вековая,
дороги синие, чтоб помнили,
чтоб помнили и уповали.

И не считаясь с пассажирами,
тихонько плачешь об отставших.
О, Господи, не на поживу —
на слезы душу мне растащат!

Все те же ливни будут в рощах
телами ластиться к земле,
и мы с тобой не станем проще,

ни ласковее, ни светлей.

Мы уезжаем, уезжаем
и падаем, как на ножи.
И эти рельсы не заржавят,
покуда мы на них лежим!

Мы...

1. Мышонок

мышонок, посмотри, какая луна —
желтая и большая-большая,
значит, мама принесет шалунам
кусочек сахара,
хрустящего за ушами

ветер разогнал облака
как стадо овечек,
от горизонта налево.
небо похоже
на черный плакат
с лицом
испуганной королевы

а этажом выше,
нелепый такой,
человек, взобравшись на стул
секунду помешкал:
луна показалась ему
пятакон,
на котором выпадет
орел или решка

2. Мыши

когда твой дом опустеет
в зоне военных действий
что ты станешь делать?
куда пойдешь?
только шорох в его углах
родом
из бесшабашного детства
да еще за окнами

ослепший дождь
старая старая
глупая мышь
пусть хозяева уходят
усталые и такие серые
только в хитросплетениях мышц
плещется маленькое сердце
уходите милые
в поездах еще есть места
уходите хорошие
пожитки давно сложены
но кто-то же должен жить там,
где уже никто не может
в пустоте
в ледяном одиночестве
где даже деревья
уже не дышат
мы сидим на хвосте
у кромешной ночи
полуоблезшие
теплые мышцы

3. В твоих глазах

в глазах твоих синих
озера
из чистого света
прощальные искры
вечерний неласковый иней
едва уловимые
тонкие ветви
легко убегающих вглубь
предсказательных линий

проходит
проходим
и время кидается с крыши
ночной пароходик
тщедушное тельце разыщет

я вижу себя
уходящего мимо и выше
от дольных глубин
где никто никого не услышит
я
верно
убит

только кто-то тихонечко дышит
в заброшенном доме
озябшие глупые мыши...

Сдохнуть от любви

Нет, этот стих, пожалуй, не будет длинным.
Три-четыре слабых строфы.
В нем к последней точке сойдутся линии,
небо дотянется до травы.

Видишь ли, мне почти ничего не важно.
Сердце нашептывает: «Не дыши».
Не разглядеть за шторами глаз наших
светлячков бессмертной души.

Но я ведь писал не для развлечения,
не для славы,
не потому, что я графоман,
но потому что раньше
мне было больно,
а теперь я просто схожу с ума!

К черту рифмы, зачем они?
Красоты тут совсем немного.
Ни один по нам уже не зазвонит
колокол – по-земному.

Кто спасет всех нас от бессмыслицы,
от денег, от напечатанных слов?
Кто спасет нас от одиночества?
Я уже знаю ответ.
Никто.

Берег

Облака осыпаются пеплом,
хрустящим и ломким,
на подветренный берег,
изломанный солью прибоя;
их уносят, как вату
с рождественской елки...
Черно-белое фото
засмотрено мною до боли.

Милый мальчик,
научишься плакать,
разучишься снова.
Успокойся,
ничто не проходит бесследно.
На губах твоих тонких
останется теплое слово,
шепоток осторожный
на беленькой курточке летней.

Мне немножко неловко
за быт твой, лишенный уюта,
и за взгляд – осторожный,
испуганный
и просветленный.
Голова твоя клонится,
словно каюта
корабля,
в волосах остывает доверчиво
ветер соленый.

«В треугольнике света солнце всегда в углу...»

В треугольнике света солнце всегда в углу,
так и ты в непроглядной моей судьбе
на вершине. Свалившись оттуда вглубь,
никогда не окончат круги разбег.

Так бросают монетку на дно реки,
чтобы руку свою окунув в закат,
неподкупному времени вопреки,
с тем же самым ничем возвратилась рука.

Только все-таки есть здесь какое-то «но»,
даже если отбросить все «если бы».
В недостроенном доме моей судьбы
это было единственное окно.

«Похожий на дождик в мае...»

Похожий на дождик в мае —

завистливый, глупый, страстный, —
на розовой тучке маленькой
легко возлежащий странник,
я проплываю быстро

сквозь жизнь твою молодую,
как одиночный выстрел
сквозь тоненький ствол латунный.
Ты забываешь имя,
звук голоса, осторожность,
с которой меня встречала
вечером на пороге.
Мой парус уже отчалил
и проплывает мимо...
Молчит о твоей печали
случайно найденный снимок —
о времени за плечами,
и нежности между ними.

«В неприглядное время в стране голубых фонарей...»

В неприглядное время в стране голубых фонарей
сад тихонько царапает мокрые стекла.
Ты лежишь, не смыкая глаза, в распоследней норе —
вероятно, в аду или около.

Общий ад каждый носит в себе, ну а ты в нем увяз.
светлячки передохли, в глазах — только темное пламя.
Только это и есть та, искомая связь,
что на все времена пролегла между нами.

Обернувшись, теперь не узнаешь себя
в ожидании чуда стрекочущим летом,
да теперь и не хватит таланта объять,
что лежало в ладошке твоей неприметно.

«Сегодня я пишу тебе опять...»

Сегодня я пишу тебе опять —
по вечерам бывает одиноко,
и время поворачивает вспять,
и тьма вползает в переплеты окон.

Но все, что светлого есть в нас —
как лампа, как маяк на взморье —
ночами просится из глаз
и до рассвета с ночью спорит...

Мы остаемся при своем —
с лекарством темноты на ране,

и с тьмой граничит оком,
и ночь сгущается над нами.

Февраль

Вечера в феврале светлее весенней ночи —
даже им не дают стемнеть над больной столицей,
и, конечно, нам нелегко, но, должно быть, не очень,
раз никто не знает, сколько это еще продлится.
Мне не хочется быть пустым, но заполниться тоже нечем,
только тьмой... но это – не лучший метод.
Ты смеешься: смешно промолчать об этом,
говорить – смешнее, но все же легче.
Ты смеешься, твой взгляд пробегает мимо...
Кто поймет, что он – боль, пока не отнимут руку?
...занавесок, окон, меня и того, что еще за ними.
Наше время молчит, да и мы не поможем друг другу.

«Я боюсь одиночества. Юность уходит...»

Я боюсь одиночества. Юность уходит.
Утекают сквозь пальцы холодные дни.
Говорят, впереди еще долгие годы,
только хватит ли силы добраться до них?

Я лежу в темноте. Эти черные окна,
как зрачки вертикальные, смотрят, смеясь!
Лишь рассвет, приходя, как заботливый доктор,
алым пламенем в кровь усыпляет меня.

Не вернуть уходящего. В том, что осталось,
я не вижу конца этой дикой тоске,
только чувствую, как расцветает усталость
красной родинкой на потемневшем виске.

17

Попробуй что-нибудь понять
под стук взорвавшихся колес.
Увяз по пояс, не донес,
растратил все по серым дням.

Накапай мне под шорох звезд

семнадцать капелек зари,
семнадцать лет за ним одним —
за счастьем – голосащий дрозд.

И мне не впрок ни пальцев лоск,
ни сытый и спокойный быт —
семнадцать капелек судьбы
накапай мне под стук колес!

Стихи о море

Если небо смешать с землей
получишь, конечно, море.
Назови: «ничто»,
и никто не возьмется спорить.
Все, что будет после
и было – до.
Дух бесплотный над
голубой водой.

Уходящие твари
попарно, в ряд,
дважды два и еще раз
стократ подряд.
Разноцветные камни
в твоей горсти.
Плеск в ладонях,
и взмах – лети!

И тогда я понял:
мне не уйти,
ибо все, что могло,
то уже в пути.
Я остался лежать
наравне с тобой —
в опустевшей раковине
прибой.

Ольга Авербах
Израиль, г. Хайфа



Родилась в Харькове. Окончила Хайфский университет, специальность английский язык и литература.

Из интервью с автором:

Пишу, сколько я себя помню. Мама перестала смеяться, прочитав, в мои 13 лет. Через год отнесла мои стихи в израильский журнал, их напечатали. Я на маму очень сердилась. Я считала, пусть взрослые думают, что хотят – я пока не знаю, что пишу. Что ж, теперь знаю.)

© Авербах О., 2017

АСП

Что бы бунтовщики ни сказали,
Как бы ни пели флейты с валторнами,
Кинувшись под ноги, рявкнет заяц:
«Черная речка в другую сторону!»

Шахматы памятников на площади,
В бронзе и мраморе слепки посмертные.

Мчится покуда взбесившейся лошадейю
Под каблуком одичавшего Вертера

Боль одиночества в пропасть истории.
Солнце ль сожжет, или ветер поднимется,
Лишь бы в привязанной к луке торбе
Были бумага, перо и чернильница.

Рыба

Как хочется рыдать в голос,
Но в горле —
Будто застрял волос,
Как у пойманной рыбы —
В песке
Гортань,
И глушит прибой
Мой
Шепот,
И на душе,
Вызывая похоть —
Тело —
Сплошная
Рвань.

Под небом
Синим
Непереносимо
Там, на песке,
Умирает рыба —
Я,
А быть может,
Ты...
Уже рыбаки
Собрались
На отдых,
А где-то, где-то,
В нейтральных водах
Плещется рыба
Моей Мечты.

Ожидание

Продавленный диван. Сорочка тела
Скрывает анатомию души —

Сиамское объятье за пределом.
Души пчелиную обиду, – жить,
Глотая жидкий вакуум пространства,
Глушить вскипанье жала, но – дыши,
Не забывай поесть-попить и здравствуй,
Когда поют прощально камыши.
Я буду здесь, пока свеча горит
В последней на земле сорочке тела.
Что волшебство сжигает изнутри,
Мы видим только в миг перед расстрелом,
Устало глядя в лезвие зари
На горизонте. В полночь перед встречей
Гудит огонь, переплавляя жизнь,
И пляшет в нем безумный человечек,
Летучий порошок крутит виражи,
И нежить ожиданья, страх и смоль
Несет из крематория домой.

Марине

Одна половинка окна растворилась,
Одна половинка души* оторвалась
И падает вниз, как снежинка на впалый
Живот мотокросса под небом двукрылым,
Вполне снисходительном к адреналину
И смертности, слишком высокой для верных.
Кто создан из камня, кто создан из глины³ —
Тот голем, тот памятник. Пена и сера
Погони, щекочущей радостью ноздри...
И кружит земля на ребре серебристом,
И жметя к Хозяину божия искра,
И память в окне захлебнется неистовым
Криком, унесенным ветром... Марина,
Волна есть волна, и разбилась о пристань.
И плакать смешно. И надеяться поздно.

О вшах и Эльфийской трилогии

Душный в своей изошренности мир
Братьев нелюбящих, траченных лир,
Скальпель хирурга в руках у художника,
Образ подопытный. Врет палантир.
Скальпель выводит черед виражей

³ Строки из стихотворений Марины Цветаевой.

От заостренных эльфийских ушей
До притупленных клыков, что напротив,
В поисках если не истин, то вшей.
Мелочность – не до героев врагам,
Местность токсична, отсутствует храм,
Вши – актуальней, чем тысяча истин,
Дарят реальность волшебным мирам,
Смертность святыням, презренье богам,
Терпкой слезой кровотоцит Сезам,
В душу пудовую Средневековья
Вогнан клинком доэдемовский срам.
Где он, желанный от века изгиб
Тела и век... Ближе ядерный гриб.
Всходит на подиум кукла живая,
Жертва фантазии – твой прототип.

От тоски

От тоски по нежити – замерзаю...
Не плывется мне по течению
Зависаю глыбой базальтовой
Над трюкачеством построения
И слежу как в небе разверзнутом
Пробужден манящими чарами
Слон плывет – и кажется мизерным
Под бумажным огненным шариком
Глыба рухнула. Раскололася.
Что не выболтала – подсказали
Что ж зову тебя
твоим голосом
и твоими плачу глазами.

У тебя во сне

У тебя во сне умерла лиса
В общем, рыжая, но
С сединой в хвосте.
А тебе во сне было все равно,
Что бессмертны все, начиная с тел,
Что повсюду пляски, свирель и смех,
Что повсюду гильдии лисенят,
Что повисший клочьями ржавый мех —
Это мерзость, брат,
Это старость, брат.
Что конец строки – не конец реки,

Что конец реки – не конец воды.
В океане душ не видать ни зги,
Но зато тепло не дает остыть.
И мешок снотворного в водах Ли
Не позволит трех усыпить за раз.
И плывут киты, и глотают нас,
Чтобы нами плюнуть на край земли.

Из пушек по облакам

Из пушек по облакам...
Но – прицельно.
Первый встречный,
Он же – последний,
Лишь повыше подтянет
Свой воротник пальто,
Удаляясь из Ничего —
В Ничто.
Покосившись,
Как дырявая крыша,
Валит на землю небо.
Черный он или белый,
Этот день позади —
И вниз
По мокрым перилам рая
Я съезжаю, не прекращая
Поиск, который вышел
Снова длинней,
чем жизнь.

Французская баллада

Русалки рыжей длинноногий шаг...
И вот в глаза заглядывает утро.
Из лабиринтов закулисных шахт
Следы зазубрин цвета перламутра
Выводят тварей прямо в полдень, будто
Твой черный сон переломил печать.
И, яростно наворачивая сутры,
На свет выходят с белыми играть
Сатрапы параллелей чернокудрых
И накрывают явь за ратью рать.

Обкатанный Гольфстримом чернозем
Вбирает цианидовые волны,

И всхлипывает матом, малохольный,
Опущен дикарями, стриптизер,
Фанера декорации крамольной
Вибрирует под взглядами с галер,
Зевает контролер в режиме «вольно»
И занавес сползает за Босфор,
Массовка врет, освистан номер сольный,
Оси износ обратный, скачки вспять,
Философа кошмар краеугольный,
Нахально лезет гость за ратью рать.

Кокетливый от фантиков перрон
Да по-хозяйски снесенная будка
Дряхлеющей эпохи Рубикон
Тавром на лбу недвижимости чуткой
Пропишут. Президентам – кветирон,
Комедиантам отстреляют шутки,
Эфир порежут до пятиминутки
(– Французы, бросьте, это моветон,
Его айфон дороже вашей куртки.)
Империям не ново помирать,
Когда идет волна за ратью рать.

Грязнеет нарисованный Марат,
Давно остывший в обмелевшей ванне,
А муэдзин чего-то там горланит
И пробуждает жизнь за ратью рать.



Гамельн

1

Слишком сладкой жизни жертвы
Не своею волей двери
Распахнут – и выйдут птицы,
Выйдут сказки, выйдут песни,
Выйдут стайками из клетки —
Да пойдут гулять по свету,
А услышат – только звери,
Да лунатики, да дети.

2

Ты уйдешь на рассвете
Одичалой тропюю
От тебя пахнет смертью,
Пахнет жизнью и морем.

Не поспеть – не догоним!
И спешить бесполезно...
Я последним драконом
Горько плачу над бездной.

Не дает Еве сна весна

Не дает Еве сна
весна,
Пьет малиновый сок
взапой
Под сосной, как Лилит,
одна,
Спор ведет со своей
судьбой.
Ах, была бы она —
Лилит
рыжей лилией
у огня,
не давил бы на горло
быт,
И не долг бы велел

обнять
Тело в выпрямилось,
как жгут,
Вольный ветер в лицо
подул,
Обожжен ароматом губ,
Падал в ноги бы
Вельзевул.
И не страшен обман
рукам,
Не подлижется сырый
змей...
Но Адам, но ЕЕ
Адам
Все-то к Еве бы шел своей.

Белоснежка

Замолчали козлы на выпасе,
Отмяукали мурлаки...
Я мечтаю. Мечтаю выспаться.
Мне жеманничать не с руки.

Чтоб вернулись домой... как долго вы.
Без добычи – и пусть. Забей.
Чтоб очаг стерегли от добреньких
Сдобных пальчиков кумовей.

Чтобы мне умереть по-тихому,
Как от счастья бывает, но
Сны текут, долголетье тикает,
Вязнет в Лете по горло гном.

Ирина Фещенко-Скворцова

Португалия, г. Бенавекте



Поэт, эссеист, переводчик, автор пяти поэтических сборников, литературоведческих статей, эссе об искусстве, переводчик книг португальских поэтов и многочисленных журнальных публикаций. Публиковалась в поэтических антологиях, в журналах «Иностранная литература» и «Новый мир». Член Союза российских писателей и Международного союза писателей.

Из интервью с автором:

Мне кажется, что существует некая мистическая обреченность на творчество, которая определяет всю жизнь человека. Порой она как бы замыкает творца в камеру, не позволяя ему ни любить, ни отдыхать и развлекаться изредка, как это делают обычные (можно даже сказать – нормальные) люди. Так случилось, например, с португальским гением – Фернандо Пессоа. К счастью, так жестко она ограничивает только жизнь гениев.

© Фещенко-Скворцова И., 2017

Я живу на пределе

Нет, не дни и недели,
Познавая, любя,

Я живу на пределе, —
Сколько помню себя.

До конца – в каждом деле,
В каждом чувстве – до дна.
Я живу на пределе,
Я в себе не вольна.

Силы не оскудели,
Счастлив этот удел:
Верить, что на пределе
Одолеешь предел.

Звезды ткали покрывало

Звезды ткали покрывало,
Как умели, как могли,
Чтоб земное отрывало,
Отрывалось от Земли.

Чтобы что-то отвлекало,
Неизвестно почему, —
Брали хитрое лекало
И кроили по нему.

Чтобы верилось отчасти
В эти милые слова,
Чтобы впрямь желавший счастья
Сам же счастья не давал.

В чем там мудрость у лекала?
А душа – всегда одна,
Чтобы к звездам улетала
Легкокрылая она.

На белом камне белая черта

А эта мысль
Особенно близка мне,
Когда бессонница и темнота...
Какое имя
Там, на белом камне?
На белом камне
Белая черта.

Я отпускаю...

От глаз твоих, от рук твоих вдали
Я не тяну к себе, я отпускаю.
Моя любовь, она теперь такая:
Оторвалась от вязкости земли.

След нежности, самозабвенья след
Ложится, перекраивая душу.
Да, время все отнимет, все разрушит.
И только свет... и только этот свет...

Невоплощенный образ

О Карме, о душе, наверно, все же зря я,
Мне в о земных вещах задуматься скорей,
Когда в борьбе за жизнь – себя и жизнь теряя —
На уровень раба низводится творец.

Надломлена душа и замирают чувства,
И тянет ляжку он, чтоб прокормить семью.
Недобрые слова – «свободное искусство»...
Ну чем ему дышать, предав мечту свою?

Быть может, область сна – единственная область,
Где воля и покой. Последний светлый луч.
Витающий над ним невоплощенный образ,
Не снись ему, не снись! Не мучь его, не мучь!

Остановленное мгновение

Остановленное мгновение
Среди будничной шелухи:
Нестерпимое откровение
Как несбывшиеся стихи.

Без наркоза – глубинный невод.
Зубы сжала – не закричать.
Выворачивает, как нервы
Из корней на иглу врача.

Из души моей – не тяните,
Не готова, еще слаба, —

Из меня растущие нити,
Не свернувшиеся в слова...

Сам себя – на безлюдный остров

Сам себя – на безлюдный остров.
Не на годы – на вечный срок.
На путях духовного роста
Человек всегда одинок.

Ты взглядишь в любимые лица:
Каждый думает о своем.
Этой ношей нельзя делиться,
Этот путь не пройти вдвоем.



Не хрупкая слюда...

Я прах не отрясу.
Предавших не предаю.
Пусть этим не спасу
От Высшего суда.

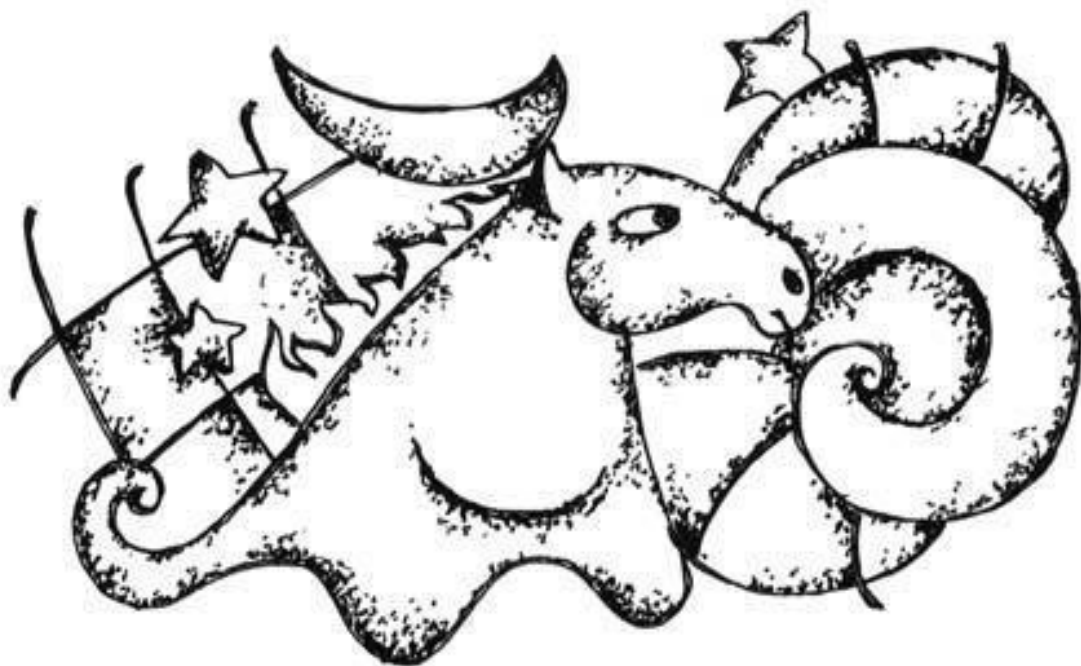
Не хрупкая слюда —

Железная руда.
Открытая – ударь —
Затем пришла сюда.

Прощаю – ты – прости.
Прости и не тревожь.
Опять в Его горсти
Мне прорасти травой.

Ранима и грешна,
Не чище, не светлей...
Но, может быть, страшна —
Открытостью своей.

Белая тропа



Бранислав Янкович
Сербия, г. Ниш



Писатель и поэт, автор романов, рассказов, стихотворении, радио- и театральных пьес. Двадцатилетний опыт работы в журналистике, на радио и телевидении Сербии (корреспондент, журналист, редактор, ведущий). Занимается редакторской и издательской деятельностью.

Из интервью с автором:

Дорогой читатель, представляю тебе серию рассказов о войне. Каждый из них описывает разные войны и разные эпохи – Косовская битва (XIV век), Салоникский фронт (Первая мировая война) и зарисовки из Второй мировой. Эпохи разные, а боль и страдание – одни. Одни на все войны.

© Янкович Б., 2017

Соловей-пташка

– Да замолчи ты, птица Давор, горевестница! – крикнула старушка, бросив в меня веретено с красной шерстяной нитью. – Возвращайся в адскую ночь, из которой ты прилетела! Отдай тьме свои черные перья, метку твоей гнусной лжи!!!

– Я ни в чем не соврал! – закричал я, расправив крылья и едва увернувшись от острого предмета, чуть было не пробившего мое черное сердце. Оно билось так быстро, что, я думал, вот-вот выскочит из груди, упадет на землю и начнет прыгать, как мяч в руках тех смешных циркачей, которые в Видов день⁴ и по большим праздникам приходят во двор замка. В этом

⁴ Видов день – главный национальный праздник Сербии. День святого великомученика Царя Лазаря и всех мучеников сербских. Праздник отмечается 28 июня в память о знаменитом сражении на Косовом поле в 1389 году. На сербском языке праздник называется Видовдан.

году они не пришли, и замок погрузился в зловещее молчание. И только иногда откуда-то доносился стон или плач, режущий застывший воздух.

Монастырские колокола звонили только ночью.

В злые времена.

Времена печали.

Игумен Евдокие своими старыми худыми руками сам тянул толстые веревки, не позволяя дьяконам кинуться на помощь. Кисти его рук были в крови, но он был настолько стар, что не ощущал этой боли.

Веретено, словно лезвие, ударило о каменную стену и разлетелось на части. Куски дерева обсыпали меня. Нить обмотала меня, будто какая-то странная красная змея, я словно попался в детские силки для птиц.

– Все так, как я сказал, а вестники и глашатаи, твердящие обратное, лгут твоим старческим ушам, пытаюсь умалить твою печаль или подлизаться к тебе!

– Я была там, – продолжила она спокойнее, опустив взгляд на отсеченную кисть, которую я, прилетев, положил ей на колени. Она смотрела на нее, не отрываясь, не зная, что делать. Взор ее впивался в пальцы, под ногтями которых виднелись следы крови. – Я кружила над тем полем и считала мертвых. Всех девятерых, смехом и плачем выдавленных из моей утробы, я нашла под целым морем турецких трупов. Только Юг Богдана нигде не было. Словно его забрали волны того моря.

Теперь пришла моя очередь кричать – и от моего карканья в окнах задрожали стекла.

– Лев, он сражался как лев, не желая посрамить ни девятерых своих славных витязей, ни страну. В один момент, когда турки, словно прилив, хлынули на них десятерых, происходящее перестало быть для него битвой за царство и Бога, теперь это была битва за жизни его сыновей. Юг Богдан не усомнился в Творце, клянусь всем самым дорогим, он не усомнился. Только... среди всего этого безумия... с морем крови, сломанных шей и разбросанных внутренностей, он вдруг очнулся и спросил себя: что ему эта победа и царство, обещанное им на княжеском ужине Лазарем, если он останется без детей?! Это прибавило ему сил, и он стал махать мечом и петь, словно архангел Михаил, защитник Крестной славы⁵, он отсекал головы как острым оружием, так и голосом, реющим над знаменами.

– Тогда где он? – прошептала старуха, заламывая руки. – Почему я его не нашла?

– Не знаю, – сказал я.

Но я знал.

Его не унесло море.

Нет.

* * *

Недолго еще.

Ночь накрыла мою душу, и луч света не может пробиться через этот мрак, сотканный из крови и терний. Я слепа, хотя хорошо вижу. Таращу глаза и спотыкаюсь, будто во мраке продираюсь через заколдованный лес, и ветви деревьев хлещут меня по лицу. Иду в темноте, вытянув перед собой руки, делаю небольшие шаги, чтобы не провалиться в яму. А все окрест словно на ладони, все наполнено солнцем. Я разговариваю с вороном, появившимся из бездны.

Почему только я не сошла с ума и, как те несчастные и бедняги, что побираются у ворот замков и церквей, не говорю чушь и не вижу того, чего нет? Почему я не царапаю стены и не призываю, с растрепанными волосами и безумным взглядом, старых богов? Но птица по-

⁵ Крестная слава – южнославянский народно-православный обычай, празднование дня семейного святого. Слава празднуется в честь того или иного святого, почитаемого всеми семьями рода или всем селом.

прежнему тут, она неотрывно смотрит на меня. Ее клюв красен от крови, будто обвит красной нитью, которой днем вяжут, а ночью все связанное распускают. Она принесла мне руку. Я знаю, чья эта рука.

Я ее родила.

Когда у меня получается заснуть, я вижу ангелов. Я не знаю, сны ли это, грезы или голова моя обманывает меня, пытается утешить, показывая, что существуют визитеры из потустороннего мира. Те, о ком рассказывают священники.

Я рожала не безгрешно.

Я молю этих прекрасных крылатых существ рассказать мне, где сейчас мои сыновья. У Всевышнего ли они, за которого отдали жизни? Существует ли то Царствие Небесное, и находятся ли мои сыновья по правую руку от Бога, спрашиваю я, умоляя ответить. Делят ли они его трапезу, высмеивая такую смешную штуку, как жизнь, и наше ужасное желание сохранить ее, какой бы она ни была?

Ангелы молчат. Они подносят пальцы к губам, показывая тем самым, что и я должна молчать.

– Убирайтесь! – кричу я им. – И скажите Богу, чтобы он выполнил обещание, данное Лазарю, скажите ему!!!

Не плачу я только во сне, в единственном месте, где я сильна, и где, как библейский Яков, могу потягаться с ангелами. Когда просыпаюсь, я долго не открываю глаз, надеясь снова уснуть. Иногда я сильно жмурюсь, собирая силы для нового утра. Мне еще осталось немного дней, и я радуюсь этому. Я ухожу, чтобы снова встретиться со своими соколами.

И с моим любимым.

Ворон смотрит на меня.

* * *

– Моя молитва услышана, – сказала она и, дрожа от холода, закрыла окно в башне, в которой я нашел ее. Когда я прилетел, она смотрела вдаль, словно ждала кого-то. Ждала так, как ждут тех, которые никогда не придут: с тревогой во взгляде, с ладонями, сложенными для молитвы. С ожиданием того, что Бог снова поднимет кого-то из мертвых.

Она нежно опустила отсеченную ладонь на стол, целуя ее пальцы: «Как ты думаешь, черная птица, Бог или дьявол сделал это? Никогда раньше Бог не исполнял моих желаний. И я не знаю, есть ли кто-нибудь, чьи исполнял».

– Разве это важно? Бог, дьявол, кто его знает, – ответил я, перепрыгнув с кровати на спинку стула. – Знаю множество тех, кто, не получив помощи от Бога, призывал падшего ангела.

Она побледнела. Тень пробежала над нами, на мгновение подарив надежду ее взгляду.

– Нечистый исполняет их желания или хотя бы дает утешение?

– И оба они требуют платы, – я удивил сам себя этим богохульством, но все же не остановился и продолжил, отвечая на испытующий взгляд старухи: – Душами. Слезами. Страданием. Не стоит договариваться ни с одним из них двоих.

– Ты говоришь как человек, птица. Мудрый и ученый. Не сам ли дьявол послал тебя, чтобы ты очернял мои и так черные дни?

– Я прилетел по своему желанию и своей воле, женщина, – каркал я, кивая головой, словно этим хотел убедить ее в правоте своих слов. Время от времени я взлетал и следовал за ней по комнате, по которой она передвигалась, будто во сне. Она словно не ходила, а парила над землей, носимая воздухом. Вилась. Мне хотелось все время смотреть на ее белое морщинистое лицо с черными кругами под глазами. А когда-то оно было красивым, с длинными ресницами и синевою под ними.

Слезы не перестают течь по ее щекам. Она вытирает их рукой, когда они застилают ей взор и превращаются в ручей.

– Я принес тебе весть...

– Как тебе мясо сербов, птица? – оборвала она меня.

– Прекрасно, женщина, прекрасно, – прокаркал я. – Никогда не пробовал ничего слаще.

– А мясо турков?

– Я не хотел его пробовать. Какие-то псы отравились им.

* * *

Я помню, как, будучи не в силах ждать вестей с Косово, задыхаясь, я побежала в церковь. Там я озиралась в поисках иконы самого сильного святого, того, который бы дал мне глаза сокола и крылья лебедя. Того, кто бы исполнил мое желание как можно быстрее оказаться на Косовом поле, гори оно синим пламенем. В полумраке светился лик Иисуса. Я подошла к нему и упала на колени.

Мою молитву прервал игумен Евдокие.

– Госпожа! То, что ты делаешь, ересь! Бог не превращает людей в птиц.

– Если Он может воскресить из мертвых, значит, может и меня превратить в лебедя, – сказала я, вызвав его возмущение, явно отразившееся на лице. Он перекрестился и окропил меня святой водой. Она смешалась с моими слезами. Я яростно вытерла щеки.

– Если Он не может, то скажи тогда, поп, кто может. Душу отдам, чтобы узнать, где мои сыновья и муж.

– Бог с тобой, черная женщина! – вскрикнул он. Потом повернулся к алтарю и стал молиться, а в руках его постукивали сделанные из бараньего рога четки. Или это стучали его старые тонкие пальцы. Или зубы. «Господи, прости ее, так как в страхе не ведает...»

Знаю, отец, знаю, что говорю. Пусть теперь Он выбирает. Нужна ему моя душа или нет? Если нужна, то Он услышит мое желание.

Я вылетела из церкви, оставив там игумена молиться за меня.

Уже в следующее мгновение я ощутила холодный ветер, который сек мое лицо.

И я полетела в сторону Косово.

* * *

– Мы победили, – сказал я, пытаюсь предоставить ей хоть какое-то оправдание и утешение после смерти ее сыновей. Но я ошибся.

– Я проиграла, – простонала она и склонилась над столом, глядя на отсеченную кисть. – И все остальные матери, потерявшие сыновей, молодые и сильные тела которых теперь терзают вороны и волки на поле боя. Скажи мне, ворон... как они погибли?

– Они погибли как герои, все девятеро.

– Да что мне с того, даже если бы они погибли, спасаясь бегством?! – закричала она. – Неужели ты думаешь, что сможешь утешить меня тем, что они погибли как герои? Даже если бы они были трусами, все равно бы я любила своих сыновей. Я не спартанка, птица: мне дети важнее страны. Что мне эта победа? Кому останется эта земля, если мы все погибнем? Могилам и духам? Народным сказаниям и легендам? Воронам?

Перья мои вздыбились. Я сказал, сам едва веря своим словам:

– Мы купили Царствие Небесное.

– Купили? А почему мы его не получили? – взбунтовалась она, сжав кулаки. Быстрым шагом она ходила по комнате от стены к стене, возбужденная и злая. – Мы слишком дорого за него заплатили, птица.

– Не знаю.

– Тогда, значит, мы можем и продать его?

– Не знаю, – я продолжал повторять, как любая другая говорящая птица, – не знаю, не знаю, не знаю...

Я летал по комнате, гася свечи и поднимая пыль. Взмахом крыла я переворачивал страницы книги, лежавшей на столе.

А ведь я знал.

– Как погиб мой муж? – спросила она и этими словами обрушила меня на деревянный пол. Я упал, словно пронзенный стрелой. У меня не было желания подняться. Я смотрел на паутину на потолке. На балках было несколько уснувших слепых мышей, ждущих ночи. Пятна от дождя на черепице. Одно гнездо.

Пустое.

Той весной ласточки не вернулись в него, словно издалека узнав о печали, поселившейся в доме.

Но вот всю эту картину разбило лицо женщины, склонившейся надо мной. Ее слезы капали на мои перья.

– Я тебе уже сказал, – ответил я.

– Мне нет дела до его геройства, – она махнула рукой и отодвинулась, снова открыв мне вид на изъеденные жуками балки и ночных созданий. – Я отлично знаю, каким храбрецом и героем он был. Мне важно знать, о чем он думал перед тем, как его зарубили.

– Его не зарубили. Они не смогли к нему подобраться. Они предательски пускали в него стрелы, – сказал я, по-прежнему раскинувшись на полу. Они растаскивали и уничтожали это гнездо, эту колыбель... или, может быть, меня так обманывали тени заходящего солнца.

– Ты сказал, он пел. Что он пел?

– «Соловей-пташка, не пой рано...»

– Хватит! – она закричала, оступилась и опустилась на кровать, внезапно обессилев. Потом сильно зажмурилась, но даже так не смогла сдержать слез. – Эту песню пела ему я.

Песня полилась с ее потрескавшихся от соли губ и закружилась по комнате, отражаясь от каменных стен.

Свечи в подсвечниках стали зажигаться сами собой, делая четче тени витязей в доспехах. Бошко, Дамьян, Воин, Мирко, Марко, Радмило... Сыновья.

Они бродили по маминым комнатам. Искали ее. Вытягивали руки, чтобы дотронуться до нее.

Вороны не умеют плакать.

Последняя тень накрыла все остальные. Тень Юг Богдана.

– Мой господин! – воскликнула старуха и, оборвав песню, согнулась и разрыдалась.

* * *

С поля боя я привела псов и коней. Принесла соколов. Похоронила своих детей. Без крестов. Не хочу, чтобы кто-нибудь другой веры осквернял их могилы и ломал их знамена. Земля знает, чьи кости хранит. На Косово полно сербских костей. И мало крестов.

Мужа я не нашла.

– Где самый старший? – кричала я на раненого турка, тряся его слабыми руками за грудки. – Где тот, который порубил больше всех ваших?

– Я скажу тебе, если обещаешь, что убьешь меня, неверная, – сказал он, усмехаясь, и кровь заливала его уста.

– Я сама найду его!

Он умолял меня забрать его жизнь.

– Прости своего Бога, чтобы он забрал твою душу. Мой забрал мою.
Мужа я не нашла.

Женщины завизжали, увидев коней без наездников. Седла были в крови, скакуны ранены, копыта сломаны, соколы опьянены вкусом крови. Они клекотали, призывая хозяев. Но хозяев нигде не было видно.

Меня не было ни среди живых, ни среди мертвых, но я все еще ходила, а птицы и звери следовали за мной, как за Ноем. Но мой ковчег не выдержал наводнения.

– Плачьте, сиротки мои, – сказала я вдовам, царапающим себе лица и выдирающим свои длинные волосы.

Не знаю, откуда у меня, уже несколько дней немой, вдруг появился голос.

Душа моя была истерзана. Девять раз. Бог оцарапал ее девять раз, требуя быть храброй.

«Ты породил одного сына, а я девятерых», – подумала я, проходя мимо церкви, возле которой стоял старый игумен. Он не крестился и проводил меня пустым взглядом.

Несправедливо.

* * *

– Где сербов больше, птица? На косовском небе или в косовской земле? – спросила она меня, а на лице ее по-прежнему читались следы неутраченной боли.

– Думаю, что всех сербов следует хоронить в Косово, – ответил я ей, взлетев и опустившись на стол между книгами. – Если уж не могут живыми, так пусть хоть мертвыми займут его своими костями, и когда настанет Страшный суд, они будут преобладать над остальными.

– А что, если Царства Небесного не существует? За что мы тогда отдали жизни?

– За что-то ведь надо умереть.

Она фыркнула, как кошка.

– Девять раз я надрывала утробу, чтобы они появились на свет. Может, есть и то, ради чего стоит жить?!

– Ты знала, в каком мире живешь и рождаешь, – возразил я ей. – Война и предательства. Отцеубийства и ослепление родных детей. Клятвы и кровь. Голод, чума, наводнения. Кто бы захотел жить вечно?

– Ты думаешь, что Косово послано нам в наказание? Как проклятие? – спросила она, глядя мне прямо в глаза. – Этот клочок земли дан нам как напоминание?

– Напоминание о чем? – ответил я вопросом, догадываясь, что она сейчас скажет.

Она вздохнула и задрожала.

– О том, какие мы. Вечно наше и никогда не наше.

– Бог не станет напоминать нам об этом, – выскочило из моего клюва.

– А о чем тогда?

– Изменники.

– Я не смогла найти и собрать все части их тел. Возможно, некоторые из моих сыновей лежат, закопанные вместе с ногой или рукой какого-нибудь турка. Только лица... Лица их. Мирные и спокойные под шапками. Каждое из них я поцеловала в глаза, которые родила, прощаясь с ними.

Она помолчала, вспоминая те времена, а после продолжила:

– Мое сердце состояло из десяти частей. Осталась еще одна. Девять я оставила рядом с каждым из моих сыновей. Я не уйду, пока не узнаю, где мой муж. Вот скажи мне, птица-горевестница, вернет ли тебе Бог на небе то, что Он забрал у тебя на земле? Ты должна знать, ведь ты летаешь высоко и, значит, ближе к Богу, чем мы, обреченные ходить по земле.

– Священники и старые книги говорят, что Он возвращает все, что берет у тебя.

Она отворила дверь и попросила стражника позвать одну из своих снох, Луцию.

– Сядь на самую высокую балку, чтобы не напугать ее, – попросила она меня.
Больше мы не разговаривали.

Прошла целая вечность, когда в комнате наконец появилась высокая светловолосая молодая женщина с расцарапанным и заплаканным лицом. У нее были короткие, неровно отрезанные ножом волосы. Она шла босиком, словно апостол. Она подошла к столу и увидела кисть. Она вскрикнула, схватила ее и стала целовать пальцы.

Она плакала беззвучно. Ее глаза не замечали окружающего мира. Они были устремлены туда, где она вновь была вместе со своим мужем.

– Матушка, могу ли я взять его кисть?

– Нет. Можешь взять только обручальное кольцо. А теперь иди.

Она посмотрела на меня. Я перелетел к ней на плечо. Она словно просела под грузом моего птичьего тела. Ее колени подогнулись. Она погладила меня по перьям дрожащей рукой.

– Я сразу узнала руку моего младшего сына. Она выросла у меня на коленях, как мне не узнать ее. Отнеси ее туда, где она должна быть теперь, где я закопала часть моего сердца, предназначенную ему.

Она подошла к окну, открыла его и сказала:

– Там... там Косово. Будь оно проклято. Лети, птица!

Я взлетел с ее хрупкого плеча и сел на оконную раму. Я хотел взглянуть на нее в последний раз.

– Перед тем как улетишь, я хочу, чтобы ты сказал мне, кто ты, черный принц, – сказала она.

Красное солнце садилось.

– Полагаю, ты догадывалась, кто я, с того самого момента, как я прилетел, – ответил я, раскрывая крылья, готовый к полету.

Она улыбнулась той улыбкой, которую я любил больше всего, той, у которой ни старость, ни печаль ничего не отняли. А потом она стала падать. Медленно, словно паря, опустилась она на пол, как шелковый платок, как перо, как сон.

Крыльями я закрыл ей глаза и взлетел. Тяжело и неуверенно.

Птицы не плачут.

«Спасибо тебе, Боже, что Ты позволил мне увидеть ее еще раз», – подумал я и, снова став человеком, истерзанный стрелами, лег на могилы своих сыновей. Я хотел обнять их всех.

А в небе... Десять белых лебедей в сумерках летели к востоку.

Словно куклы для бедных детей

В корзину из ивовых прутьев, стоящую возле остывшего очага, я положил пластиковую куклу. Одноглазую и без волос. Зола еле теплилась, и я потер руки, пытаюсь хоть немного согреться. Не люблю бывать в бедных домах: слишком много печали и несчастий. Будто ими оклеены стены или они поджидают, притаившись, на чердаке, поэтому я лишь оставляю подарки, почти швыряю их, и спешу дальше... На самом же деле я бегу в страхе, опасаясь, как бы что-нибудь грустное не пристало к душе. Мои пальцы простерлись над пеплом, словно я собирался этим движением воскресить огонь. Но я не волшебник, и серая кучка осталась тем же, чем и была: горстью праха, останками когда-то горевшего огня, ничем. Я вздрогнул, почувствовав чей-то взгляд, вонзившийся в мою сгорбленную спину.

– А где ее левый глаз? Да и волос тоже нету... Они вырастут?

– Нет.

– Почему?!

– У кукол волосы не растут. И глаза тоже.

Я вздрогнул и втянул голову в плечи. Девочка продолжала спрашивать, а я просто мечтал поскорее уйти. Но я продолжал сидеть, ошущая, как ноют затекшие колени.

– Они такими рождаются?

– Да.

Я попытался закончить разговор и исчезнуть, не желая дальше беседовать с ребенком.

– Холодно. Мне пора идти.

– Туда, где тепло?

Туда, где больше счастья, подумал я, туда, где дети не просыпаются от холода, а после, растирая озябшими ручонками заочневшие пальцы ног, смотрят, что я им принес. Туда, где у кукол есть волосы и оба глаза. Туда, где нет пепла уже отгоревшего костра. Так подумал я, но ничего не сказал.

– Как ты думаешь, она когда-нибудь сможет видеть?

– Ты разве не заметила, что один глаз у нее есть?! Она же не слепая!

Я почти крикнул это, рискуя разбудить ее родителей, спавших, крепко обнявшись, в кровати у окна. Они касались друг друга носами и улыбались во сне.

– Зачем ты спрашиваешь, вырастет ли у куклы глаз? Это ведь глупо.

– Не глупо... Помнишь, что ты принес мне в прошлом году?

– Нет. Я сразу же все забываю. И подарки, и детей.

Но я обманывал ее. Некоторых я помнил. Тех... улыбающихся и счастливых. Мое сознание быстро и успешно стирало всякое воспоминание о плачущих, перепачканных детях, обнимающих сломанные игрушки. Да, я понимаю, что в тот момент они были счастливы. Но этого недостаточно, чтобы я запомнил их. Это было лишь мгновение, лишь недолгое веяние радости. Настоящее же счастье должно быть продолжительным. Печаль может измеряться мгновением, счастье – нет.

– Я уверена, что ты помнишь. Мы и тогда тоже разговаривали. И холодно было так же, как и сейчас. И так же ты не смел обернуться, чтобы посмотреть на меня.

– Я приношу счастье и могу смотреть в глаза любому.

– Нет, не можешь – бедным детям. Чего ты боишься? В прошлом году ты принес мне фигурку индейца без ноги.

– И?

– И она выросла.

– Не говори глупостей, у игрушки не может вырасти нога. Ни у кого не может.

– А у этого выросла. Хочешь посмотреть?

– Нет.

– Я знала, что ты не захочешь. Но я не вру. И ты это знаешь. У наших кукол растут ноги, глаза и волосы.

– У каких это наших?

– У наших... у кукол бедных детей. И я тоже хотела сделать тебе подарок. Но раз ты так спешишь, то иди, отдам его тебе в следующем году. Но, может быть, в следующем году я вырасту, или ты не придешь, или, может, я умру, – и ты снова останешься без подарка. А может быть, мои родители выдадут меня замуж – и мой муж не разрешит тебе прийти. Знаешь, ведь все, что угодно, может случиться.

Я улыбнулся, но по-прежнему не оборачивался. И тут мне показалось, что я увидел в пепле искорку жара, теплящуюся красноватым светом. Тонкая струйка дыма стала подниматься к дымоходу, и воздух в комнате как будто стал теплее.

Я распрямил сгорбленную спину и спросил:

– Какой подарок? Дай мне его. Обещаю, что запомню тебя. И даже твое имя.

– Получишь подарок, если познакомишься с индейцем.

– С тем, у которого выросла нога?

– Да, именно с ним.

– Как его зовут?

– У него нет имени.

– Имя есть у каждого.

– Если он не обязан иметь два глаза, значит, не обязан иметь и имя. Ведь так? Можно жить и без имени.

На левом плече я почувствовал легкое прикосновение детской руки.

Вниз по моему красному пальто, словно с горки, скатилась фигурка и упала на пол передо мной. В руке у нее было копьё, на голове – перья. Вождь. И у него были обе ноги!

– Видишь? Видишь? – послышался возбужденный голос, – нога выросла и теперь даже крепче той, которую ему отломали. И он опять может бегать, скакать и бродить по прерии.

– И правда, может. А ты уверена, что я принес его тебе без ноги?

– Конечно, уверена! Я помню еще, что спросила тебя, почему ты приносишь мне игрушки для мальчиков.

– Вероятно, она была единственной, оставшейся в мешке. У меня не было другой. Но в этот раз ты получила куклу.

– Одноглазую и лысую.

– Ты же сказала, что у нее вырастут волосы и глаз.

– Но это не означает, что ты можешь дарить мне игрушку, которой уже кто-то играл. Она принесла с собой и жестокость того ребенка, и ложь, и вредность, свойственные богатым детям.

– А бедные дети не жестокие?

– Жестокие. Но от слабости и страха. А богатые – от безделья и избалованности. Они отрывают куклам ноги, выбивают глаза и вырывают волосы.

Неужели очаг разгорелся еще сильнее?! Красные угли следили из пепла за происходящим и медленно рассеивали тьму в комнате. Дрожащей от усталости рукой я взял игрушку. Индеец покалывал меня своим копьём и щекотал пластиковыми перьями, торчащими из его волос.

Я обернулся.

Передо мной стояла девочка лет десяти. Она была одета в пижаму с подвернутыми рукавами и штанинами, вероятно, доставшуюся ей от кого-то из старших. Она дрожала от холода, потирая плечи. Ее легкие светлые волосы развевались, словно от какого-то незримого ветра. Но ветра не было. Лишь холод и расползающийся по комнате запах дыма. Она смотрела на меня большими глазами, не отрываясь, словно хотела запомнить всего меня, каждую мою морщину, каждый седой волос, каждое движение в лице. В глубине ее взгляда таилась улыбка. Но все равно в голове моей еще длился отзвук ее печального голоса. Она отчаянно прижимала к груди куклу. Как мать своего ребенка.

– Вот... Закутайся в это.

Я скинул с плеч свой плащ и почти всю ее накрыл им.

– Он пахнет плесенью и сыростью.

Мы вместе рассмеялись.

– Я весь год храню его во влажном подвале. Он и не может пахнуть по-другому. Но он теплый.

– Да. Мне и правда больше не холодно.

Ее волосы рассыпались по красной ткани.

– Как ты это делаешь?

– Что?

– Чинишь куклы.

Она покачала головой.

– Не делаю я этого, они сами.

Она произнесла это спокойно, как само собой разумеющееся, и взяла куклу из моей руки. Она поцеловала ее.

– Просто им надоедает быть куклами для бедных детей. Они тоже не хотят терпеть нашего горя и несчастий, поэтому пытаются хоть немного осчастливить нас тем, что поправляются. Вот этот вождь даже научился говорить, чтобы утешать меня, когда я грущу.

– Вот только не выдумывай! Куклы не умеют говорить. Я это точно знаю. Я так долго уже работаю с ними.

– Говорят, говорят. Просто ты никогда не грустил, дедушка. Ты слишком много смотрел на счастливых детей. Ничего ты не понимаешь. Глупый ты, дедушка.

Она запрыгала по комнате, путаясь в моем плаще. Ее волосы снова стали развеиваться на невидимом ветру. Она радовалась. И вождь в ее руке радовался вместе с ней.

– Глупый, глупый, глупый!

– А где мой подарок?

Она хлопнула ладонью себя по лбу. Потом скинула плащ и убежала в другую комнату. Я посмотрел на очаг: угли сияли, как лава просыпающегося вулкана, и в комнате уже не было так холодно. Я стал искать взглядом что-то, чем можно было бы разжечь огонь. Ничего такого не находилось: все поленья уже сожгли. Я открыл сумку в поисках деревянных кукол. Тех, что были для детей богатых родителей. Они должны хорошо гореть, уносясь в небо вместе с дымом...

А потом меня накрыла какая-то тень. Тень чего-то страшного. И я проснулся.

Надо мной склонился начальник нашего лагерного барака и смотрел на меня злыми глазами. Он сказал тихо и грозно:

– Дед! Эй, дед! Пошли на улицу. Новый год.

Я дрожал от холода январского утра. Боли, отступившие во время сна, снова стали мучить меня. Впадина на месте потерянного два месяца назад глаза ныла. Новый год! В концентрационном лагере времени не существует. Да и праздники здесь не празднуют. И ничего нового нет. Я снова закрыл глаза, зная, что тем самым могу лишь вывести его из себя и заработать оплеухи и удары. Две секунды сна стоят ударов. Две секунды в прекрасном месте. Теплом, счастливым, у огня. С дорогими людьми. Чудесными. В доме девочки и ее бедных родителей.

– Что ты пристал ко мне, злодей! Отстань от меня, животное! Будь хоть раз человеком и дай мне попрощаться с людьми из моего сна. Неприлично уходить, не попрощавшись.

Мои оскорбления его не тронули, и он не ударил меня. Он засмеялся и дал мне знак встать.

– Дед... Какой-то ребенок стоит у забора, разделяющего два наших лагеря, и кричит, что должен передать подарок. А насколько я знаю, ты здесь самый старейший. Самый старейший живой. Остальные старики давно померли от холода, голода и истязаний. Один ты, дед, остался.

Я вскочил с доски, служившей мне кроватью. Как юноша, спешащий на свидание к возлюбленной, как тигр, еще недавно выслеживавший добычу, как стремительный летний дождь, помчался я к воротам барака. С дрожащими коленями я бежал к колючей проволоке. Деревянные лагерные башмаки спадали с моих ног, но в спешке я не замечал этого. Там, во дворе другого лагеря, в утренних испарениях и дыме из трубы крематория, который, вместо того чтобы улетать в небо, стелился по земле, виднелась маленькая фигура. На ней была форма заключенного с подвернутыми рукавами и штанинами. Голова была налысо побрита. Под большими голубыми глазами виднелись тяжелые черные круги. Ей было лет десять. Увидев меня, задыхающегося, бегущего к ней, она улыбнулась.

– Глупый дедушка. Глупый. Потерял башмаки.

– Ты из моего сна?!

– А почему ты думаешь, что и это не сон?

– Во снах нет боли.

- Бывают и страшные сны.
- Но в них мы всегда просыпаемся. А из этого нам не выбраться.
- Я пришла подарить тебе подарок.
- Какой подарок ты можешь подарить мне здесь, когда ни у тебя, ни у меня ничего нет?!
- Есть.
- Что?
- Есть мы.

Она просунула ручку между прутьями забора и коснулась моего лица. Она гладила своими худыми, костлявыми пальчиками глубокие, доставшиеся мне от всех пережитых невзгод морщины. Потом она положила указательный палец во впадину, где когда-то был мой левый глаз.

- Поправляйся, дедушка.

Вернувшись в барак, подгоняемый криками и ругательствами эсэсовцев, я вспомнил свое имя. Так холодно мне больше не было. Счастливого Нового года!

Духи и матери

И этой ночью над фронтом снова блуждают духи. Бледные фигуры призраков, словно пьяные, словно потерявшиеся птицы, словно кошмарные сны, словно постиранные рубахи – колышутся на ветру. Но ветра нет; лишь случайная ночная бабочка может потревожить воздух и всколыхнуть тьму. В ту ночь звездное небо проявлялось на фоне призрачных фигур, поэтому казалось, что фигуры эти сотканы из серебра. Только лишь глаза духов были черными, в них не было света звезд. Никто другой, кроме меня, их не видел, а они как будто понимали это и вот уже третью ночь приближались ко мне и пожирали меня своими взглядами без проблеска света. Их рты искривлялись в тщетной попытке породить что-то наподобие крика, визга, а может быть, они пытались прочесть молитву, но я ничего не слышал. Я навел свое ружье в темноту. Я стоял в карауле. Салоникский фронт. Окопы и грязь. Порох и кровь.

– В кого целишься, Станко? – спросил меня Радован, мой товарищ по караулу, подходя ко мне. – Враг не осмелится выступить при такой луне. Посмотри на нее: словно круглый противень. Но наша луна все-таки лучше, чем эта, греческая.

Я опустил ружье и расхохотался, вызвав тем самым удивление и духов, и Радована, искавшего сигареты по карманам формы. Духи закружились вокруг парня из моего села в танце, известном лишь им одним. Они рассматривали его со всех сторон, пролетали между его ног, вились вокруг ушей, хватая его своими бесплотными руками за лацканы формы. Некоторые даже пролетали сквозь него, заставляя парня икать.

– Иди спать, Радован. Нет смысла бодрствовать обоим. Болгары не пойдут, – сказал я ему и взял предложенную сигарету. – Эта ночь будет мирной. Гарантируем оба: луна и я.

Пока мой товарищ, вдыхая дым сигареты, шел к своей постели из грязи, расположенной глубоко внутри наших окопов, духи отлетели от него и вернулись на нейтральную землю между двумя армиями. Я хорошо знал каждого из них: еще совсем недавно все мы вместе сидели в окопе и строили планы, что будем делать, когда вернемся. Вот дух Миле Дикина из моего Дубова, он погиб, пытаясь выкатить пушку из грязи. Он споткнулся, и колесо проехало по его груди, размозжив ему сердце. Позднее некоторые солдаты клялись, что оно у него было с правой стороны. Вон тот, в шайкаче, надвинутой на глаза, это Лаза из Гласовика, я не знаю, из какого он рода. Он получил пулю в правый глаз и поэтому был единственным из духов с отблеском звезды во взгляде. А тот долговязый, которому и после смерти были коротки штанины, погиб, иссеченный пулеметной очередью. Дома у него осталась молодая жена. Нецелованная и неприласканная. Она не знает, что уже стала вдовой. Я не мог вспомнить его имени. Но молодую звали Ружица. Он столько раз говорил о ней, что я запомнил.

Каждую ночь духов становилось все больше, а планов все меньше. Грустные тени искали кусок земли, в котором будут почивать их кости. Просили живых похоронить их. Чтобы греческие вороны не выклевывали им глаза, а псы не растаскивали их кишки.

Но живые их не слышали.

«Ничья земля становится все меньше, скоро над ней не останется неба. Куда тогда денутся духи?» – подумал я, озирая чернеющие в ночи трупы погибших товарищей. Ни мы, ни враги не подобрали своих мертвых, боясь того, что противник откроет огонь. Тела были чернее, чем земля, на которой они лежали, и казались уже готовыми могильными холмами из мертвого мяса, порванных жил и полых костей. Раздавленных сердец и немых языков. К ним не подходили даже духи. Будто и они боялись тех скрюченных фигур, словно они никогда не имели ничего общего с ними, словно не они потеряли их. В своем танце они облетали их, проносясь высоко.

В какую-то минуту глубокой ночи, когда луна усиливает свое свечение, желая помочь людям, застигнутым ночью на улице, я увидел одинокую фигуру, бредущую по полю. Я схватил ружье, прислоненное к доскам, подпирающим ров, и навел его на неожиданного гостя, пытаюсь как можно точнее прицелиться в темноте. Какая-то старуха в платке медленно шла по полю тел и, подходя к очередному мертвецу, наклонялась и заглядывала ему в лицо. Не найдя того, кого искала, она стала звать его.

– Радован, о Радован! Где ты, сынок, где ты, радость моя? – кричала старуха во тьме, а у меня кожа покрылась мурашками от этого голоса, разносившегося над полем мертвых воинов. Жалостный, плачущий голос матери. Он разлетался по ничьей земле, заставляя волноваться духов, стремительно круживших над полем в попытке дать старухе понять, что они здесь. Черная фигура направилась к сербским окопам. Ко мне. Она шла, шатаясь, старческим шагом, согнутая под грузом лет. На ее бледном лице, испещренном морщинами, светились теплотой глаза, одарившие меня улыбкой. Я опустил ружье и вылез из окопа, уже не заботясь о том, отыщет ли меня пуля болгарского караульного. Я узнал ее.

– Станко, не видно ли моего Радована? – спросила она меня, возникшего перед ней.

– Спит он, матушка Цвета, спит. Умаяла его война, – ответил я ей, а челюсть моя тряслась от скорбного понимания того, что и она – дух. Мои зубы залязгали, а сердце заныло.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.